



МОСКВА
ИЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ГРАЖДАНСКАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ – ПРАВО,
ЖИЗНЬ И ДОСТОИНСТВО»
2022

От издателя

В тверском крае есть своя особенность: в нем как бы сливаются день сегодняшний и седая старина. Верхневолжье не раз испытывало нашествия многочисленных орд завоевателей, политические козни соседних княжеств. Но несмотря на разрушительные последствия различных исторических событий, все же во многом сохранило следы колоритного прошлого. Накопленные защитные реакции сохранили очарование гордой, при этом тихой и достойной, великодушной и самобытной провинции. Здесь бережно хранят давно ушедший быт и одновременно ценят современное образование, системность, строгость логики, не любят суету и аляповатость.

Протоиерей Александр Шабанов и его круг общения – носители этих ценностей. Что бы ни писал автор (будь то очерки о древних ирландских подвижниках и их уставах или же притчи на экзистенциальные темы российской церковности), он всегда выдает себя как доброго, немного ироничного и одновременно очень серьезного, здравомыслящего проповедника. Вторая повесть о Болеславлеве еще раз убедительно подтверждает отношение отца Александра к истории и судьбе тверского края.

Александр Шабанов

БОЛЕСЛАВЛЕВ II

Истории ещё одного дня

Короткая повесть



Москва
2022

УДК 82-3
ББК 84(2Рос=Рус)-44
Ш 12

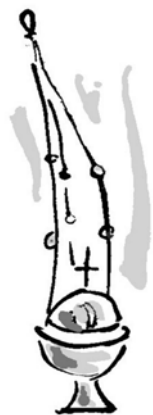
Шабанов А.Ю.

Болеславлев II. Истории ещё одного дня. Короткая повесть. Москва.: Общественная организация «Гражданская преемственность – право, жизнь и достоинство», 2022. – 100 с.

ISBN 978-5-9055592-9-7

© А.Ю. Шабанов, автор, 2018
© «От издателя»: В.В. Коган-Ясный, 2022





Протоиерей Василий Фёдорович Болеславлев разжигал кадило. Утренние часы из-за дальнего темника елового леса настойчиво выманивали густо-оранжевый диск холодного с багровыми подпалинами солнца. По тверским улицам ветер гонял хрустящую шелуху цветных листьев, стучал ставнями купеческих домов, лихо раскачивая вывески лавок. Стоял четырнадцатый день стылого октября, и в церковном дворе ледяная слюда успела прихватить оборки серых луж.

Лёгкий, но плотный, или, как говорили заволжские тверяки, «телистый» кусок берёзового угля едва принимался. С его матовых сколов срывалась чёрная въедливая пыльца. Скорым облачком она взмывала вверх, кружилась и затем мелкими пороховинками оседала на лбу и носу священника. Ловко приспособленная для розжига копеечная свечка сухо потрескивала, чадила, и на протоиерейские сапоги тяжело падали жирные капли маслянистого воска. Кадило

не принималось. На такой неловкий случай у Василия Фёдоровича были припасены кусочки бересты. Крепко скрученные, нарезанные ровными полосками, они лежали в особом деревянном туеске. От нежной, быстро вспыхивающей берёзовой шкурки в три секунды кадило чернело, но если требовалось немедленное разжигание, то берестяные ленточки оказывались лучшим подспорьем. Уголь разгорался. Медовые катышки ладана шипели в розовом колечке загоревшегося уголька. Пахло чем-то особенным: не домашним и оттого приятным...



Иван Лукич Фиолетов умер во сне. Когда говорили: «отошёл спящим», то Болеславлев представлял себе проход через узкую, наподобие футляра, комнатку в огромную гостиную. Открывалась дверь, расступались сумерки, и сиреневый свет из высокого оконца ложился на старую пыльную мебель. Спящий (точнее дух спящего) входил, и дальше его ждала ещё одна дверь, за которой полная темень. Ни ровного света, ни зыбкого огонька. Первая комната – сон, а вторая – сама кончина. Ангел смерти наблюдал за человеком, который предпо-



лагал, что просто ложится спать, но, сам того не ведая, уже заходит в первую комнату. Потом, обождав положенное время, ангел берёт спящего за руку и ведёт в комнату вторую. Там начинается нездешняя и потому не требующая особых пояснений история. Но первая дверь отворялась обычным сном.

В Твери на эту тему мнение православного купечества разделилось. Одни говорили, что «помереть во сне – дело хорошее, потому как безболезненное и непостыдное». Другие, наоборот, считали такую кончину происшествием предосудительным. «Совершенно необходимо, – утверждали они, – чтобы человек умер, со всеми примирившись, простившись, в сознании и разуме». Те же гнули свое: «Умереть во сне куда сподручнее: лёг бедолага, уснул, исчез из этого мира. По крайней мере, самому умирать не страшно, потому как спящий не понимает, что умирает. В сердце нет тоски, щемящего ужаса, а постыдных вещей, свойственных агонии, с горемыкой произойти не успеет».

«Церковь, – возражали им, – просит у Бога кончины не только “мирной и непостыдной”, молится о том, чтобы не была она “внезапной”». Неожиданное перемещение души из мира живых в обитель небесную казалось противникам смертного сна делом несправедливым и лукавым.

Сам Василий Фёдорович считал любой способ прибытия души из мира плоского в сферы небесные достойным, поскольку выбирать не из чего. При этом священник твёрдо хранил убеждение в необязательно-

сти предсмертных страданий и не верил в сомнительную идею духовного через них очищения. Ему не нравились разговоры на тему: «кто как, за что отмучился и сколько грехов через страдания были прощены несчастному».

«Зачем продлевать терзания, – рассуждал Болеславлев, – если за душой уже приставлен надёжный ангел-проводник? Никакой мученик с мокрой гангреной, раком или в антоновом огне ни единой ясной мысли не скажет. У несчастного еле ворочается распухший язык, зрачки стекленеют и сердце дрожит, как зерно на молотье под кичигой. Не то что покаяться – задуматься в такой передрыге немислимо. А родственникам, если они не злорадные упыри, так сущая мука. Кому нравится слушать стоны родной души? Последним злодеям. В Твери таких почти нету. Город всегда был середнячком: добра и лиха поровну».

К Фиолетову священника пригласили соборовать за два дня до кончины. Он пришёл. Разложил все подходящие принадлежности. Кухарка принесла деревянного масла, в глубокую глиняную миску насыпала гречневой крупы. Потом затеплила свечи, налила с четверть стакана красного вина и, мелко крестясь, юркнула в сени. Иван Лукич был в слабом, но различительном сознании. Он внимательно следил за всеми движениями Болеславлева, прислушивался к молитвам и несколько раз пытался удержать руку мазавшего ему лоб священника. Фиолетов был из тех особо тонких натур, про которые в Твери говорили: «больно нежный».

При любом печальном известии он начинал вздыхать, пускал слезу и осеял себя особо широким крестным знаменем. Такой нарочитой грусти и громким соболезнованиям мало кто доверял. Но были и те, кто почитали Ивана Лукича как сердечного молитвенника и тайного благодетеля. К тому же Фиолетов совсем не пил вина, пива и даже кваса. Соборовал Болеславлев деликатно. Голосом не играл, старался всё сделать аккуратно, но не затягивать. Силы Фиолетова тихонечко истончались. Лёгкий сквозняк поднимал и сквозь тонкие щели выносил запахи угасающего тела. Когда таинство завершилось, Иван Лукич поцеловал холодный латунный крест и наконец-то, поймав руку протоирея, пробормотал:

– Отец Василий, чую я, что скоро помре... Скажи мне, ради Христа, зачем я сюда вообще приходил? Бог дал жизнь, а к чему её нужно было приложить, никто не надоумил. И помирать-то конфузно. Только на французское полотно новый уговор сладили. Война же минула, денга невеликая, но пошла. Весело так брызнула, как молоко в подойник.

(Победила или проиграла Россия в этой войне, сказать было сложно. Да и рассуждать о триумфе или поражении люди опасались. Была война и, Слава Богу, закончилась. Мало ли битв и сражений оставили в памяти её шрамы. Так или иначе все болячки затягиваются новой плотью, прошлое порастает быльём или вовсе отмирает. Была война, и даже могил не осталось. Чьи останки из южных краёв повезут в далёкую Тверь? По-



гибших оплакали и отпели. Победители получили славу, на которой в рай не въедешь; уцелевшим досталась жизнь, что гораздо приятнее любых песен и наград.)

– В чём смысл моего рождения? Эх... Кабы ради детей, то хорошо. Слава Богу, двое сыновей останутся. Но если бы знать, что им придётся стерпеть и какая цена той жизни? Тебе тоже неизвестно. Ладно, благодарствую, ступай к своим святыням. Спасибо, что заглянул.

Сказал, отвернулся к стене и весь мелко затрясся, только костяшки сутулых плеч вздрагивали по-крупному. Умер ночью двенадцатого октября. Анатомить покойного не стали. Вдова упростила. Так тело отправили. Сперва домой, а после во Владимирскую.

Тринадцатого, когда в приходские ворота въехала похоронная процессия и по телеге с надёжно притороченным гробом осенний сквозняк дважды шарахнул дверью старой калитки, Болеславлев подумал: «Кась эдакая! Знак недобрый. Морокой выйдет завтрашнее отпевание. Конечно Ивана Лукича Фиолетова жалко. Был человек, а теперь исчез. Любого, коль исчезнет, пожалеешь. Где он теперь? Поди знай. Но ветер шалит шибко».

«Ваше высокопреподобие! – вбежал в алтарь дьякон, затараторил: – Привезли к нам горемычного! Я лампадки уже затеплил, а свечи палить покуда придержу. Псалтирь читать или ждать? Вдова Ивана Лукича, может, кого из Оршина монастыря кликнет. У неё с тамошними монахинями свои палимпсесты. Как благословите?»



Болеславлев благословил читать самим и, когда шум в храме поутих, вышел из алтаря.

Подле усопшего суетилась купеческая прислуга. Дородный детина в кафтане и яловых сапожищах склонился над гробом. Пробуя повернуть новопреставленному голову, громко пыхтел: «Ну, родненький, что ж тебя так скрючило? Давай к Богу глядеть станем. Развернись на потолок. По сторонам уже насмотрелся. Какой ладный гроб тебе справили. Надёжный, щедрый гроб».

– Семён! – рыкнул на мужика сосед Фиолетовых Игнат Матвеевич, – ты бы полегче, а то, не добрый час, сорвёшь Ивану Лукичу башку. Что вдове скажем?

– Православные, – урезонил похоронщиков Болеславлев, – вы бы ступали по своим делам. Сами тут разберёмся. Дьякон первую кафизму докончит, литию сладим, и порядок будет.

– Да мы, Василий Фёдорович, от усердной печали и заботы пришли помочь. Но по чести скажу вам, что покойник словно чужак. Не похож совершенно на Ива-



на Лукича нашего. Как подменили человека. А шея словно льдинами сжата. Окаменела совсем. Смерть, конечно, кого хочешь подменит. Но чтоб так, до неузнаваемости, то редко. Людям заменить покойного в голову не придёт. Прощайте до утра. Вдове скажем, мол, всё в порядке.

Поклонились, перекрестились и, чинно пятясь, медленно вышли из церкви. Священник заглянул в гроб. Покойный и вправду мало походил на самого себя. Впрочем, кустистые с лёгкой серебрянкой седины брови подтверждали подлинность личности Фиолетова. Их хорошо знал каждый посетитель купеческой лавки. Они сдвигались при появлении худого человека и взлетали вверх, встретив покупателя доброго. Теперь брови застыли на ледяном лбу втиснутого в гроб тверского купца.

Тверитяне любили свои гробы. Тупоносой лодочкой, широкие, с высокими бортами, струганные под белую масть, крашенные в иссиня-чёрный колер, обтянутые тканью, гробы укромно стояли в клетях, пылились на чердаках. Называли их печально-величаво: «домовинами». Ощупывали, проверяя на сухость, простукивали, определяя непроницаемость внешним звукам. Придирчиво отыскивали щели, угрожающие протечкой воды и трбухой могильной подсыпки. Покупая, торговались, обнюхивали, деловито цокая языком, говорили: «знатная берёза» или «ядрёная сосна». До наступления скорбного срока в них бережно хранились сложенные стопки погребальных одежд, веточки

вербы с праздников Входа Господня, бледные, с выгоревшей ложбинкой от следа пламени венчальные свечи, медные крестики и прочая благочестивая мелочёвка.

Почивший Иван Лукич Фиолетов – человек характера недурного, покладистый, честный купец. Но кадило зажигаться не хотело.

– Может быть, – предположил протоиерей, – душа Фиолетова не торопится расставаться с этим миром? Отчего и угольки не принимаются в пламя?

Говорил же Гераклит Эфесский, что умершего за гранью этой жизни ждёт такое, о чём он не думал, не знал и представить себе не мог! Первое, что ощутит душа покойника, – будет чувство величайшего удивления. Один начнёт увлекательное путешествие, другого низринут в бездонные пропасти, а третий и вовсе перестанет существовать. У всех это будет по-разному. Потому и удивление. Ивану Лукичу, покуда жив был, дивиться не полагалось: купеческий лад размеренный, солидный. Ему сродни опасливость и недоверчивость. Какие уж тут удивления? Другое дело – супруга, Фиолетова, точнее, уже вдова, Евпраксия Псоевна...





Родственники усопшего в ожидании начала положенного обряда немного нервничали. Они собирались наскоро отстоять чин мирского погребения, быстрёхонько похоронить тело и крепко посидеть на долгих поминках по Ивану Лукичу.

В этом году покойников привозили особенно часто: летом на телегах, зимой в санях. Не то чтобы по России стоял кромешный мор, но смерть настойчиво кружила близ сел, городов и поместий и нагло хозяйствовала где только вздумается. Мороки с похоронами хватало всем: горожанам, слободским и селянам притихших окрестностей.

Кадило, как архиерейская трубка владыки Неофита, начало дымно поыхивать.

«В церковной школе, – усилив вдувательные действия, припомнил отец Василий, – учили про ангелов, которые держат свитки грехов. На суде Божьем, чтоб грешникам стало стыдно и противно от горького осознания своей никчёмности, свитки читаются вслух. Жуть кромешная: стоит человек, а про него чужим людям сообщают всякие скабрёзности...»

«На каких свитках, – думал тогда маленький Вася, – написаны грехи? На папирусе? Или овечьей коже? Так сколько овец надо перевести для такого дела? А что после делать с ягнятиной? Ангелы же не едят мясо...»

«А если грифелем по бересте выводить, – это уже Василий Фёдорович рассуждал, – то можно начертать рисунок и даже целое письмо. Опять же список грехов на бересте полыхнёт, почернеет, сгорит и рассыплется мелкой трухой. Спросить бы кого из преосвященных?»

Предыдущий владыка (из-за частой его приговорки: «Мы, епископы, как сапоги Божии, обязанные пинать ленивых попов» – Сапогом и прозвали) однажды у маститого старицкого протоиерея выпросил большой дубовый гроб. Можно считать, выклянчил глубокую свежевыструганную домовину. Благочестивым фальцетом произнёс: «Гроб беру сейчас, а о тебе, недотымке, договорюсь с апостолом Петром. Он вас вместе с попадьёй без экзамена в рай пристроит».



Нынешний преосвященный, ввиду склонности к концертным богослужениям и модным поверх шёлковых ряс пролёткам, получил прозвище Артист и гробовую тему не жаловал. Его оптимистичный баритон любил слова звонкого свойства и поучения более патриотического, если не сказать воинственного содержания. Было ему не до ритуальных предпочтений местного люда.

Ещё в Твери обретался старенький епископ «на покое». Все ласково величали его Дедом и терпели за слезливость и любовь к почаевским кантам. Кстати, именно Дед смерти не боялся совершенно. Чурался разговоров, нервничал на погребениях молодых собратьев, но считал себя заколдованным и был уверен в покровительстве особых мистических сил. Болеславлев уважал каждого из духовно властных. Говорил: «Как не почитать единоутробных орлов гнезда синода?»

«Может быть у Сяси спросить?» – подумал Василий Фёдорович. Был в Твери свой уникальный юродивый – Сяся. Обретался бедолага подле старинного храма Белая Троица, и знал его весь церковный народ. Сам маленького росточка, с длинными чёрными, по-девичьи завивающимися локонами татарин Сяся смотрел одним пронзительно лукавым глазом на богомольцев, при этом часто и мелко кланяясь. Второй глаз юродивого залепило желтоватое бельмо. Он картавил, и по щеке, из уголка рта, текла слюна, которую юродивый всегда успевал ловко смазывать рукавом рубашки. В любое время года щека оказывалась грязной, и могло

показаться, что это огромное родимое пятно. Правда на Пасху Сяся блестел как серебряный целковый. Он был очень приветлив и незлобив. Всем кланялся и выпрашивал деньги. Но был рад и хлебу. В отличие от бабы, побиравшейся рядом с ним, никого не ругал и не плевался вслед прижимистым прихожанам. Не дрался. Копеечки он не пропивал. Берёт и купил себе угол в домике.

Когда Сяся постарел и его чёрные волосы обрели грязновато-белый оттенок, кто-то пустил слух, что у юродивого есть дар чудодейственных молитв. Тайно от мужей к нему стали приходиться купчихи и даже барышни дворянского рода. Просили помощи в своих болячках и женских хворях. Но так как по-русски Сяся говорил плохо, к тому же быстро и булькая неудержимой слюной, то было затруднительно разобрать его пророчества и советы. Оказывались те, кто бегали к юродивому, но после приходили до Болеславлева. За растолкованием. Собственно говорил Сяся немного. Чаще всего, с раз-



ной интонацией и шепелявым бурчанием, он возглашал: «Пусть тебя! Пусть тебя!» Если в этом восклицании слышалась смешинка, то это можно было принять как знак добрый. Случись разлиться подвыванию: «Пу-уу-сть те-ее-бя, пу-усть», то дело было плохо. Или смерть бродит вокруг дома вопрошавшего, или разбойники на всю семью точат дюжину кинжалов.

Протоиерей решил никого не спрашивать. Кадило полыхало, словно жертва души Фиолетова. Василий Фёдорович растворил Царские врата и вышел к гробу.

К уготовленному аналою Василий Фёдорович подошёл степенно. Шаг в таких ситуациях он всегда слегка укорачивал. Неприлично было казаться торопливым, но и излишнюю медлительность тверитяне могли счесть за неуважение к исполнению их, всегда неотложных, планов. Хотя, казалось, какая у гроба может возникнуть срочность? И всё же внутренние правила печального ритуала требовали от протоиерея деликатности, особого такта.

Болеславлев поправил старенькое, в медном окладе Евангелие, поставил на аналой фарфоровую (подарок генерала Райкова!) ладаницу, водрузил целовальный латунный крест и осторожно заглянул в обитую бордовым шифоном домовину. «Точно, успе! – мысленно вздохнул протоиерей. – Вечным сном уснул добрый знакомец. Как ловко, однако, наш русский язык передаёт всё непереводаемо жуткое и маловыразимое: «смерть – форма сна, работа – рабское, но неизбежное дело, зрак – лицо без определённых эмоциональных

свойств. Вот я нынче зрю сущего в колоде купца первой гильдии. Египтяне сказали бы “саркофаг”. Но нам это слово и ухо режет, и душу калечит. Саркофаг – гроб, поедающий плоть. Ни в какие сиракузы не лезет. Эх! Милый Господи».

Запавшие скулы, височные тонкие косточки Фиолетова показались священнику чрезмерно заострёнными. Нос Ивана Лукича приобрёл вид восковой ломкости. «И тот не Федот, и этот не тот», – задумчиво пробормотал Болеславлев. Ему припомнились слова вчерашних похоронщиков. Мужики тогда пригубили вина, буквально чуть, но языки споро начали перемалывать последние новости. О том, по чём будет хлеб и как сейчас в России принято подменять трупы богатых людей. Рассуждали, спорили, словно бабы, цапались: «Кто и как из богатеев прячется под землю за свои денежки».

«Пустое, конечно, – неожиданно предположил отец Василий. – Но случись наше сегодняшнее погребение июльским полднем, хрящевая плоть носовой перегородки Фиолетова равномерно бы просекалась солнечными лучами. Слава Богу, осенним утром всё выглядит гораздо пристойней, поскольку кончина человека совпала с “природы увяданьем”. Этому надлежит быть и, как говорит Иван Киреевский: “медленное окостенение осенней зыбки” – факт необратимый.

Впрочем, – тут мысли Болеславлева рванули со скоростью сразу трёх курьерских поездов, – подменить тело можно только по злему умыслу или желанию личности, якобы умершего. Смерть всегда настоящая,



а похороны не обязательно всамделишные».

В конце августа около особняка консистории он встретился со ржевским протоиреем Матфеем Константиновским. Случайно вроде. Отец Матфей чувствовал себя плохо, но приехал за какой-то синодальной бумагой против старообрядцев. Они раскланялись, покаялись о «волнительных явлениях ржевской приходской жизни», подлежащих, как считал Константиновский, «скорейшему искоренению». (К упомянутым на-

строениям относились свадебные безобразия при участии ряженных шутов, а также соблазнительные зрелища для малолетних детей, совершавшихся на дворовых «поседках», и непотребное поглощение вина при погребении православных христиан.)

После кратких сетований Болеславлев, уже прослышав, что ржевский протоиерей бывал у тайно-святого Корейши в Москве, стал расспрашивать сурового Матфея о загадочном монахе. Одно время Корейша жил в Ниловой Пустыни и среди братии оставил о себе

причудливые воспоминания. (Болеславлев давно интересовался этим человеком. И юродством – как особым, диковинным видом русской святости.) Так вот, отец Матфей сообщил, что Корейша верит, будто в тысяча восемьсот двадцать пятом году на похоронах тело императора Александра ловко и незаметно подменили. Сам же царь жив, скитается под личиной могучего старца Фёдора Кузьмича в Сибири. И через Корейшу благословил даже подписать мирный договор в Париже.

«Но дела царские далеки и невразумительны, – вздохнул Болеславлев, – а здесь всё ясно: гроб поглотил Ивана Лукича. Пора возглашать “Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков!” Подумал: – Какое странное созвучие – Бог наш и гроб наш».

Протоиерей откашлялся, и его начальный возглас умножился высоким сводчатым эхом. «Аминь!» – грянули певчие. Василий Фёдорович смотрел поверх ковчега с Фиолетовым. Теперь домовина казалась лодочкой, что отвязалась от причального крюка и вот-вот нырнёт в разверстый проём Царских врат. «Так вот она и началась. Его последняя история».

У каждого усопшего (Болеславлев предпочитал именно так называть умерших: слово «новопреставленный» казалось ему слишком казённым, а выражение «наш покойник» жутковатым) существуют три истории. Первая – повесть жизни, за которую рано или чуть позднее придётся отвечать. Вторая – история трагической или мирной, но всё равно кончины,

своего рода дагерротип, «зеркало с памятью», фотография в духовной галерее усопшего. У кого-то она явственная, а некоторые запомнят её как мерцание лампадного фитилька: безболезненное и тихое. Третья история – скорее новелла, или чёрная комедия, описывающая неловкие и горькие детали захоронения того, что от человека в конечном итоге остаётся. Душа наблюдает именно эту, третью, историю. О чём она сетует, как переживает казусы и нюансы происходящего, никому не известно.

(Если кто-то из тверских вольнодумных семинаристов возражал протоиерею: мол, «личный дух, то есть эфирная личность, после смерти от своей телесной оболочки окончательно отделённая, иметь явственную связь с хладными останками не дерзнёт...», то Болеславлев застенчиво пожимал плечами и, поглаживая бороду, отвечал юному бурсаку: «Православное предание имеет суждение, согласно которому первые девять дней после последнего удара сердца душа пребывает в мире видимом, среди людей здравствующих, на широтах географических. Она, наделённая особым даром, всё видит, слышит и печалится в случае недолжного обращения с храминой тела, в котором много лет обрета-лась. Ей не безразлично, как проходят приготовления к погребению, сам печальный обряд, убранство храма, еловые ветки на полу, цветы в глиняных вазах и духовное лицо, сие действие возглавляющее. В смысле его молитвенного навыка и чистоты сердечной. Все важно, особенно чем на поминках станут кормить и поить».)

Давно, когда Болеславлев был назначен во Владимирскую, ему случилось отпевать пожилого прихожанина из дворянского сословия. На службе стоял родственник усопшего. Человек незнакомый. Он пристально наблюдал за отцом Василием. Когда гроб с телом вынесли, они нечаянно столкнулись на крыльце, и Болеславлев, слегка смутившись, сказал:

– Возможно, вопрос мой покажется неуместным и дерзким, но скажите, почему Вы так внимательно и неотрывно следили за мною? Может быть, что-то я неправильно или коряво делал?

В ответ Василий Фёдорович услышал:

– Я в Ваших священнодействиях не грамотен. Но, знаете, вот что скажу. В какую-то секунду мне показалось, что Вы перестали молиться Богу, а начали вести разговор со смертью, стоящей по правую сторону от головы покойного. То ли Вы её воочию видите, то ли чувствуете, как чувствуют жар и сквозняк. Особенно отчетливо это показалось, когда дело дошло до слов разрешительной молитвы. Вот эти слова угрожающие и вздорные: «властью, данной мне, прощаю и разрешаю». Что есть такого особенного, что смертный может запретить самой смерти? Тогда возникло странное впечатление, что Вы с кем-то другим спорите. С тем, кто не ангел, но и не демон. И ещё, я старался обнаружить на Вашем лице выражение, непохожее на лица остальных собравшихся. Они, понятное дело, горевали или ждали, когда закончится служба, но Вы должны были выглядеть иначе. Хотя бы уже от того,



простите за каламбур, что звучали иначе.

Ничего такого мистического во время отпевания Василий Фёдорович не видел, ни с кем не спорил. Более того, припоминая прежние надгробные или даже сорокоустные панихиды, он удивлялся тому, как рационально работает его сознание. В который раз мозг успевал восхититься славянской фразе: «Яко посуху пешествовал Израиль, по бездне стопами» (протоиерею очень нравилось сочетание «бездны» и «стоп»). И на секунду отвлечься: «Вот какое словцо нужно было вернуть

в последнюю статейку про раскопки отца Ивана Белюстина».

Ещё три секунды отец Василий свободно ловил идеи о том, как в следующем году на дальнем огороде следует посадить больше свеклы, между яблонями у дома посеять морковь, подле забора, за малиной, воткнуть корешок табака, а горох не заводить вовсе. Прок от гороха мизерабельный. Одна возня.

«Кстати, – на этой мысли отец Василий сосредоточился, – нужно разжиться красной капустой и крыжовником для царского варенья».

Мелкой чередой прыгали всяческие идеи (мы же знаем, какая только ерунда не придёт в голову, достаточно просто отправиться за яблоками).

Болеславлев вновь возвращался к чину погребения. Кадило дымно и приторно пытело. Хор пел канон. Родственники Фиолетова рассеянно смотрели по сторонам. Один, словно не желая соглашаться ни с песнопениями, ни с заупойными ектеньями, упрямо мотал головой. Изо всех сил бедолага старался не уронить даже взгляда в сторону усопшего и таращился на настенные росписи, иконы в высоких киотах, стоящих рядом людей.



На ирмосе «Житейское море воздвигаемое зря» отец Василий неожиданно расчувствовался. Ему припомнился Иван Лукич. Не тот, что лежит теперь в сосновом пожирателе плоти – саркофаге, но другой. Живой. Статный, из тех далёких деньков, когда они раскладывали по десять копеек пульку, а Дуняша приносила хо-



лодный лимонад. Хороший был вечер в саду на Ивана Купалу.

Беспечное время шелестело рядом с игроками. Ещё ни войны, ни новых болезней...

Вдова усопшего, как любили говорить в Твери, «натурально держалась». То есть подхватывать Евпраксию Псоевну под руки, подносить к пунцовому от частых всхлипываний носу пузырёк с нюхательной

солью или предлагать место на широкой скамейке подле гроба никто не собирался. Высокая, худощавая, словно пустившая в высокий волжский берег мощные заскорузлые корни сосна, эта строгая женщина стояла напротив безмолвного Ивана Лукича. Ни ветер, ни перекаты промозглой волны – ничто не могло поколебать решения женщины упрямо, бесповоротно, руками, ногами, головой и всеми силами души держаться за оставленную несчастным супругом жизнь, детей, имущество. Смотреть в своё пока непонятное и тревожное будущее.

По вопросам приличных, в похоронные часы, состояний «крепости» и «живой слезы» тверитяне всегда жарко спорили. Наличие рыданий и даже крошечной истерики у одних спорщиков считалось знаком искренних, родственных чувств. А другим казалось, что мужество и вот то самое «натуральное держание» и есть непрекаемое доказательство веры с упованием на Господа. Первые предпочитали выражение «выплакать горе», вторые склонялись к максиме «Необходимо пережить Божие посещение». Под «посещением» подразумевалась не только скоротечная или неожиданная трагическая кончина, но пожар, падёж скотины, холерная эпидемия и даже открытие военных действий.

Старший сын Фиолетова Никита чуть заметно подставлял матери плечо. Маленький Лёня крутил головой и щурился на колечки кадильного дыма. Никиту вдова держала за руку, а Лёню время от времени трепал по плечу дядя-великан Крутояров.



Хор бойко пропел «Житейское море воздвигаемое зря», и Болеславлев возгласил заупокойную ектенью. Церковный народ жарко крестился, кланялся, кто гробу, кто образам. В прогретом пламенем свечей и дыханием собравшихся храме становилось жарко.

Рядом с Серафимом Псоевичем стоял двоюродный брат Фиолетова, богатый осташковский купец Пантелеймон Савин. Из-за свисавших с низкого лба коромыслом тяжёлых надбровных дуг, бегающего и всегда напряженного взгляда его прозвали Бабуином. Как выглядели эти обезьяны, никто толком не знал, но прозвище прилипло. Было в Пантелеймоне что-то тарабарское и грубоватое. Явными злодействами Бабуин не славился. Любил всякому встречному на Святки осташу или тверитянину вручать сахарные сухарики и орехи. Но отчего-то терпеть не мог белотроицкого Сяю. Едет по улице на снях, поёт колядки; бросит в приходском дворе детишкам две пригоршни лакомств, а блаженному и петушка леденцового не подаст.



«Мало ли у кого испорчен характер и вечная накипь в душе? – мелькнуло в голове у протоирея, – но ахтильный вид Сяси любого растрогает». Савин был на Сясю сильно зол. Ходили гулы, что блаженный обличил Пантелеймона за лжесвидетельство во время холерных бунтов на осташковских крестьян. Мол, те полицейского урядника собирались поднять на вилы.

«Но то сплетни, – одёрнул себя Болеславлев, – цена им полушка. Как там в “Борисе”: “Ты медлишь... и меж тем... уж носятся сомнительные слухи, уж новизна сменяет новизну, а Годунов свои приемлет меры”», – мысленно пробормотал он пушкинскую строфу.

Из второго ряда молившихся на Василия Фёдоровича смотрел коротко стриженный господин лет сорока. Фиолетову этот человек приходился двоюродным племянником. Звали господина Петром Ивановичем, но два года назад все тверитяне знали его как отца Петра из Кожевниково.

«Почти пятьдесят лет, – поймал новую мысль Василий Фёдорович, – провёл я среди самых странных людей – русских священников. Шляпы, бороды, завидные голоса и знатная телесность – всё это не более чем штрихи к портрету. Главное упрятано в их глазах. По ним, как бы опрокинутым вовнутрь, меланхоличным или тревожно перебирающим лица собеседников, куда скорее, чем по широкой бороде или духовному платью, можно определить, что перед тобой русский священник. Кузнец в кузне оставался кузнецом, пекарь у печи хлебопёком, но когда эти мастеровые выходили на базарную

площадь, то становились одними из многих: людом, публикой. А вот русский поп с толпой не смешивался. Его всегда по глазам легко распознать. Даже расстригу».

Пётр Иванович глядел на Болеславлева с участием и грустью. Горевал он о дяде или переживал добровольное своё изгойство – сказать сложно. Бывшему собрату Василий Фёдорович лёгонько кивнул. Канон подходил к концу. Далее следовали чтения Блаженна, Апостола, Евангелия и проповедь.

Обладатель густого баритона Семён Кудрявцев принялся читать Блаженна. Подвывая на каждом конечном слове библейского стиха, Семён вытягивал шею и страшно вращал глазами. После слов «блаженни милостивии, яко тии помилованы будут» он громко вздохнул и, осенив свой могучий живот мелким крестом, поклонился гробу с усопшим.

«Да уж, – услышал очередную свою мысль Болеславлев, – милостивых у нас поискать. Всё больше со-



образительных или, как у Гоголя, – “приятных во всех отношениях”. Особенно среди чиновных и духовных. К примеру, наш улыбчивый тверской епископ, прозванный Артистом».

Улыбаться Артист действительно умел широко и, как хотелось сказать Василию Фёдоровичу, звонко. Не в том смысле, что при выказывании улыбки зубы у епископа клацали, а в том, что веяло от преосвященного одновременно военной парадностью и русалочьими хороводами.

Ещё Василий Фёдорович знал ходившее среди тверских мастеровых и мещан выражение «тащить лыбу», то есть улыбаться натужно. Артист именно так и улыбался. Глаза его при этом холодно бегали. Доверять та-

ким глазам не следовало, но белозубый оскал епископа сбивал собеседника с мысли, отвращал охоту спрашивать что-то серьёзное.

«Неловко такого благодушного архипастыря тревожить всякой житейской чепуховиной», – скромничал проситель. Эффект от досадной мимической несуразности Василий Фёдорович сравнивал с действием музыкальной шка тулки, приобретённой им

в Москве. Под железным, расписанным эмалью, корпусом скрывался механизм, издававший приятные звуки. Мелодия звучала без всякого видимого участия человека. Сама по себе. Так и в случае с Артистом. «Лыба» – сверкающий белозубый оскал епископа повисал на тонких капризных губах. Тверяки, которых ни одной пушкой не прошибить, только посмеивались. Говорили друг другу: «Нас зубоскальством не проведёшь. Если орут, мы верим: служивый в гневе. Коли помыкают, шипят в нашу сторону, понимаем: у горемыки на сердце морок. А если нам улыбаются, но поступают бесчинно, то цена коварной улыбке – пятак денег».

«Мало ли у кого какой мимический дар? – рассуждал Болеславлев, – в Торжке на ярмарке тоже сидят деревенские блаженные. Улыбаются, песни и канты заводят. Да так складно у них получается, что торговый народ соберётся вокруг, слушает, бросает в шапку мелкую денежку и только руками разводит: “Дал Господь таланта, но не шепнул, куда его пристроить”. Предыдущий владыко, прозванный Сапогом, был придурковат, но к мирянам из мещанского сословия терпим. Жестокость



его была мелкотравчатой, мстительной, а за грубость часто расплачиваешься презрением или равнодушием соплеменников. Так два полена народного гнева Сапог еле поймал. Синод перевел его подальше. К Синим горам. Артист же жуликоват и ловок. Против хитрости не упрёшься. Она, как в Эдемском саду змий, – обольстительна и улыбчива. Коварный враг подполз тогда к Еве и, сложив лукавую мину, обвёл праматерь вокруг хвоста. Улыбался, и она ему, наивная, поверила.

Зачем вообще, – задумчиво размышлял Василий Фёдорович, – епископу-монаху деньги? Не просто приличная сумма, а изобилие постоянного дохода? Плюс нескончаемая череда подарков, гостинцев, приятных сюрпризов и праздничных подношений? Будь он, как в древности, женат, то супружница устроила бы по уму всё домашнее хозяйство. Делала соответствующий табель расходов, планировала покупки провизии, пошив священных риз, столование бедных и тому подобное. А так живёт одинокий мужик на вольных хлебах, даже не в монастыре. В голову ему то суровая аскетика, то широкое разговение лезут. Подвиги воздержания завершит и тешит себя, но не квасом с сухим леццом, а шампанским, апельсинами, белым хлебом и сельтерской из самого Санкт-Петербурга. Не жалко, конечно, но порой думаешь: был бы ты лучше, владыко, как Пётр-рыбак. Не шибко образованным, но умным. Сыграли бы с тобой в преферанс. По две пульки. Ставки до пятидесяти копеек. Я тебе новые строфы князя Вяземского или свежую статью Белюстина прочитал бы».

Незадолго до прибытия Артиста на тверскую кафедру у Василия Фёдоровича созрела концепция *terra miasma*, то есть идея «земли заразных начал». Болеславлев слышал о гомеопатических успехах в лечении холеры и брюшного тифа, особенно среди русского крестьянства. Изучал «Органон» немца Ганемана, заметки бывшего поэта-переводчика Василия Васильевича Дерикера и даже посещал гомеопатическую аптеку на Невском проспекте. Справедливость его концепции «заразной земли» подкрепила случайная или, наоборот, промыслительная встреча, произошедшая на верхней, добела намытой, палубе шумно поднимавшегося из Твери в Старицу пароходика. Там протоиерей познакомился с невысоким сухопарым, лет тридцати пяти, доктором. Звали эскулапа Соломон Петрович. И направлялся этот модно одетый врач лечить кого-то из захворавших монахов в Старицкий Успенский монастырь. Нечаянные попутчики долго калякали о болячках твер-



ских жителей, о городских и деревенских травниках, о вреде и пользе козьего молока, пока разговор не вынырнул на тему болот и торфяников.

– Миазмы! – утвердительно воскликнул тогда Соломон Петрович, – вся беда от них. Из трясин и торфяных топей поднимаются эти затхлые смоги, плывут на губернский город, оседают в сельских хижинах, церковной паперти и могильных крестах. Народ дышит миазмами, пьёт нечистую воду, жуёт поднявшийся на худых дрожжах ржаной хлеб и непрестанно болеет.

– Какой же выход? – поинтересовался Болеславлев.

– Людей лечить, болота осушать, – строго ответил доктор, – водки не пить, воду очищать не отстаиванием, а кипячением. Отроков учить правилам гигиены и немецкому языку.

– Отчего непременно немецкому? – удивился священник.

– Оттого, что на этом кристальном наречии написаны лучшие медицинские книги, – с гордостью произнёс Соломон Петрович.

На том они расстались. А на следующий день, возвращаясь почтовой тройкой обратно домой, Василий Фёдорович окончательно сформулировал свою *terra miasma*.

«Заболевания, – мысленно проговаривал Василий Фёдорович, – бывают телесные, немощи случаются душевные, а порчи приходят духовные. Мы к тверским миазмам привыкли, поскольку здесь родились наши предки, выросло нынешнее поколение. Сами живём,

дышим и часто недомогаем. Травки, “ганемановские горошины”, аптекарские порошки, пилюли для лечения и душевного укрепления тверитян вполне уместны. Другое дело – заброшенные в наш край чужаки. С ними сплошное расстройство. Вдохнув тверских ветров, наглотавшись местной воды, закусив хлеб квасом, перенеся инфекцию миазмов, они меняются до крайнего неприличия. Прилетают орлами, а минул год – и по широкому двору индюк разгуливает. Жадный, напыщенный, самодовольный».

Блаженна тем временем дочитали. Хор выводил: «Како от сосцу Твоею млеко точиши Дево»; приблизилась череда евангельских чтений.

На вбитый в аналойную крышку гвоздик Болеславлев повесил кадило. Нахмурился. Покачал головой.

«Каким успешным был Сапог, пока его не отправили в Тверь. Сколь мил и приятен казался Артист до своего внезапного появления на волжских берегах. Приехали, впитали нашего *terra miasma*, и от бывшего блеска следа не осталось. Эх, бедолаги. Странствуют, как пушкинский Евгений. А нам с Иваном Лукичом плыть некуда. Ему уже, а мне ещё».

Вслух же протоиерей возгласил: «Премудрость! Прокимен, глас пятый». Фрагмент из Апостола и положенный отрывок из Иоанна отец Василий прочитывал сам.

Надгробное слово, проповедь, положенную произносить сразу после чтения евангельского отрывка, Болеславлев говорил энергично и кратко. За многие годы священства у Василия Фёдоровича сложился опреде-

лѐнный, и почти никогда не нарушаемый, порядок изложения мыслей, уместных для грустного ритуала. То, что отпевание не таинство, а именно «ритуал» и среди клубов кадильного дыма благодать Святого Духа не витает, понимала малая толика прихожан.

Большинство молящихся стояли в глубокой задумчивости и душевной растерянности. Песнопения народ знал хорошо. Кто-то прилежно подтягивал. Многие старались размашисто креститься, поясню кланялись. В редких случаях у самого гроба на колени бухался особо горевавший или не вполне трезвый родственник. Овдовевших баб, а после войны таких было довольно, их старшие сыновья держали под руки. Для немощных из церковной сторожки Василий Фѣдорович благословил приносить особые широкие скамейки. Иногда казалось, что подорванная горем плакальщица пробует уместить себя подле усопшего. Сядет на скамью, поднимет плечи, тянется к остывшим губам покойного и еле слышно бормочет. Говорить в такие минуты решался не каждый священник. То есть проповедовать, пересказывая патериковые истории, или пояснять евангельские притчи, почти не слыша собственных слов, мог почти всякий протоиерей. Даже дьякон. Но подобрать сердечность, верные слова, пожалеть, а не застрашать Судом и Гневом Божьим удавалось далеко не каждому проповеднику.

В надгробной речи Болеславлев предпочитал «свидетельствовать о трёх нерушимых аксиомах». Он так и говорил: «Я не наставник Истины, потому как Истина

сама наставит, а только её слабый и неумелый «свидетель». Аксиома первая: Бог есть источник жизни. Единственный и неиссякаемый. Вторая: Бог – сама жизнь, во всѐм её великом и неповторимом многообразии. И третья: Бог дарует человеку жизнь. Помещает его в эпоху, страну и даже сословие. У Него свой план, который Отцы Церкви благочестиво называют Промыслом. Согласно этому плану, жизнь человека, однажды начавшись в мире видимом, телесном, перетекает в область духовную, от наших глаз сокрытую. Тайна смерти, незримый её порог пугает человека, но верующий во Христа, который есть источник жизни и сокрушитель смерти, впадать в отчаяние не должен. Грусть, печаль и тихие слѐзы вполне уместны, ибо, узнав о кончине друга своего Лазаря, сам Иисус прослезился.

«Древние языческие народы, – на амвоне любил порассуждать Василий Фѣдорович, – предполагали, что душу, ради того чтобы она не озлобилась и за жестокосердие живых, но глупых сородичей не затеяла им мстить, следовало ублажать и всячески обихаживать. Даже обмануть грехом считалось пустяжным. Жрецы тех ветхих языков изобрели сложную систему ритуалов, гигиенических и гастрономических предписаний. Христиане рассудили разумно и решили, что в мире живых погребальная церемония имеет педагогическое и назидательное значение, а о душе позаботится её Создатель. Молитв такой подход не отменяет, но и отдельного заупокойного культа Церковь не одобряет. Нам, братья и сѣстры, – заключал протоиерей, – надлежит

вдумчиво следовать всему предписанному и сложившемуся».

Обычно его надгробное слово начиналось таким образом: «Сегодня, дорогие мои, мы не расстаёмся, но до срока прощаемся с незабвенным NN. Разлука не более, чем предвестие светлой встречи». А дальше Василий Фёдорович импровизировал. Серпантин выложенных протоиереем метафор, лакуны коротких, но глубоких пауз, лёгкая дробь чередовавшихся междометий напрямую были связаны с эмоциями горевавших родственников. Собравшиеся терпеливо слушали. Бродить по храму и тем паче переговариваться было не принято, так что всё их внутреннее смятение или тусклая апатия отражались в глазах. Именно там вспыхивали искорки печали, загорались и гасли огоньки внезапных страхов, проплывала череда воспоминаний, ложилась пелена тоски.

«Глаза – зеркало души лишь при определённых обстоятельствах, – думал Болеславлев, – на панихидах душа так глубоко в своё сокровенное убежище прячется, что поди отыщи».

Один из приехавших на погребение Ивана Лукича, словно не желая соглашаться ни с песнопениями, ни с молитвой, ни тем более со словами проповеди, упрямо мотал головой. Другой проделывал невероятные кульбиты воспалёнными зрачками. Он бродил взглядом по вьюшкам дымохода, трещинам в деревянном полу, только чтобы не смотреть в сторону стоящего рядом гроба.

Главной задачей своей проповеди Василий Фёдорович считал «утешение».

«Настоящий художник, – рассуждал отец Василий, – а любой священнодействователь является таковым, должен прежде всего утешить страдающих, успокоить больную сердечность. А после, если того потребуют обстоятельства, подкрепить немощных физически: хлебом, сушёным лещиком, рюмкой чая. Как придётся. Третье Лицо Святой Троицы, Дух Божий, не зря называют Утешителем. В первые дни Творения Он “носился над водою”, а теперь “носится” с родом человеческим. Кому, как не Святому Духу, полагается подражать?»

Уже завершая надгробное слово, Василий Фёдорович самым краешком бокового зрения заметил, как застеклённые створки входных дверей приоткрылись и в храм юркнул протоиерей Никольской церкви, что в Капустниках, Модест Кузьмич Холодов. Отца Модеста знала вся Тверь. Его бурная предприимчивость давно стала поводом ко всяческим байкам и анекдотам. При помощи самых странных затей, общественных мероприятий и церковных прожектов Холодов в дремотный мир соотечественников мечтал внести радикальные перемены. Главным врагом русского народа протоиерей справедливо считал его широкое и неотлучное винопитие. В самых разных местах и закоулках города мелькала седая длинная, но всегда прилежно расчёсанная борода отца Модеста. Растолкав зевак, он бойко выбегал навстречу градоначальнику, имел секретный доступ в полицейскую управу, был частым



гостем на офицерских собраниях. Ногой открывал дверь в церковную консисторию, но, как ни странно, повсюду оставался «своим чужаком». Модеста слушали, с его доводами в пользу безоговорочной трезвости соглашались. А затем, ласково препроводив, пожимали плечами, барабанили пальцами по столу и говорили смущённо: «Так-то оно так, пьянство губительно. Кто же спорит? Хотя, чего-то батя не таё проповедует.

С нашим братом по этому предмету в лобовую рубиться негоже. Даже Христос с апостолами винной чаши не чурались. Церковь учит святых слушать и, по мере сил, подражать».

Венцом своих дипломатических достижений отец Модест считал тайный визит к епископу. Дело было накануне Пасхи. Ситуация в консистории складывалась весьма щекотливая. На торжественном приёме, когда горячительные тосты один за другим сменяются взрывами песнопений и изысканными речами, новому епископу обычно преподносят подарки. От городского, то есть обеспеченного, духовенства дарить следовало нечто особенное. Парадное, дорогое и одновременно

благое. Что было на уме у недавно назначенного Артиста, где витали его фантазии, никто, разумеется, не знал. Навести справки требовалось время. Пока сочинишь да отправишь депешу на его прежнюю кафедру, все нужные дни разлетятся. Да и не факт, что ответ вообще поступит. Кто в России любит вспоминать прежних начальников? Уехал – почитай помер! Но без праздничного подношения никак не обойтись. На поповском сходе городские настоятели решили к Артисту отправить Холодова. Резон виделся самый простой: зайти отцу Модесту по какому-нибудь плёвому делу. Распушить хвост, в котором серьёзные вопросы, как цветные перья павлина, перебивались новыми проектами, прошениями, пространными тирадами. А уже покидая приёмную, мимолётно полюбопытствовать о размере и содержании будущего подарка. Возгордившись доверием маститых собратьев, отец Модест смело отправился в епископские апартаменты. Завёл долгий, витиеватый разговор. Но в нагромождение холодовских планов и реляций Артист вникать не стал. Будучи архипастырем опытным, он сразу почуял поповскую интригу, так что поднялся из-за стола, упёрся маленькими кулачками в подлокотники кресла и, вежливо откашлявшись, поинтересовался: «Ты, Модест, зачем пришёл? Место просить или кляуза на кого созрела?»

Финтить Холодов не стал и не мешкая объяснил, в чём суть визита.

– Ага, тогда ясно, – епископ вальяжно уместился в кресле, – ваше протоиерейское воображение занима-

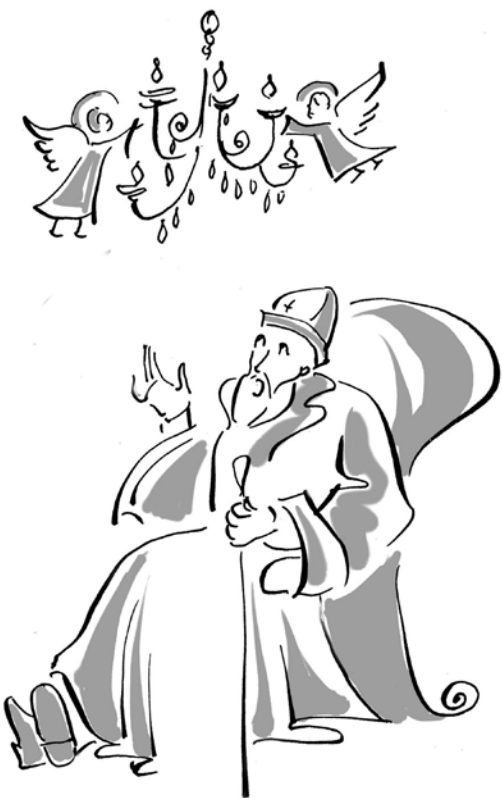
ют подарки и приношения. Это похвально. Но я не дворянских кровей. Человек простой, открытый, и мне, кроме милости Божией, ничего не нужно.

– Ваше высокопресвященство! – взмолился Холодов, – так и мы люди что ни на есть самые распростые. От сохи, да из леса почитай. Но что мне братьям ответить? Ум у всех и так враскоряку. Без подарка никак невозможно. Срам на всю Тверь выйдет.

Епископ лениво рассматривал поблёскивающую под синим потолком люстру, взгляд его скользил между ангелов и звёздочек, резвившихся вокруг хрустальных плафонов. Затем он открыл ящик стола, достал тол-

стую тетрадь и, обращаясь скорее к ангелам, принялся что-то записывать и бормотать. Холодов расслышал вот что:

– Жил мудрый седой митрополит. Старенький и очень духоносный. Однажды из игуменов и протопопов к нему пришла целая делегация. Все при параде. В клобуках, камлавках, с наградными крестами и царскими орденами. Как, спрашивают старца, отметить Ваш замечательный юбилей?



С какими подарками Вы нас, недостойных, соблаговолите нынче же принять и пожаловать ответом? Хорошие такие люди. Добрые христиане.

Произнеся эти слова, Артист надолго замолчал. Его тонкая холёная рука быстро покрывала тетрадные листы вязью каллиграфических закорючек. Отец Модест терпеливо ждал продолжения. Пауза тянулась, и священнику уже начало казаться, что он присутствует при рождении новой высокодуховной, нравоучительной притчи. Наконец епископ отложил перо, воззрился на Холодова и, растекаясь в широкой улыбке, произнес:

– И мудрый митрополит ответил делегатам: «Братия, я так вас люблю, так тронут нежной заботой, что отвечу попросту: не тратьте мои деньги на всякий хлам и полную ерунду. Не закрывайте уста волю, молотящему божий урожай. Аминь. Ступайте с Богом».

Ну что, отец, теперь тебе понятно? Или про «вола молотящего» найти строчку из святого Павла?

Холодов ухватил самое главное: все деньги в епархии Артист считает своими, а так ему совсем ничего не нужно. Отчёт перед городским духовенством прошёл при гробовом молчании отчаянно загрустивших клириков. Делать нечего. Повздыхали и назначили отца Модеста





хранителем общего кожаного кошель. Деньгами это хранилище набивали долго, плотно, насилу застегнули. Подарок решили упаковать в цветную папиросную бумагу и украсить венком из свежих роз. Преподнесли на особом подносе с поклонами и пением: «Приидите пиво пием новое, не от камне неплодна чудодеемое, но нетления источник, из гроба одождивша Христа, в Нём же утверждаемся». Артист тогда ещё пуще расцвёл.

Банкноты – вот овёс нынешних волос. Так вращаются жернова наших мельниц, заключил для себя Болеславлев.

В молодости Холодов славился широкими загулами, денежным плутовством. Но годы жизни, отягощённые телесными болячками и душевной маятой, брали причитающуюся им дань: борода протоиерея седела, глаза слепли, и только беспокойная оборотливость покоя ему не давала. Два года назад его племянник, питерский семинарист Фома, гостил на Святках у Модеста Кузьмича и рассказал своему неумному дяде про ирландского священника Теобальда Мэтью. Фома читал английские журналы, следил за жизнью католической Европы, так что его повествование имело успех документального свидетельства, а не досужих ярмарочных сплетен про новых антихристов и кровоточивые иконы. Самым поразительным в истории Теобальда Мэтью было количество ирландцев, давших зарок трезвости. Оно исчислялось сотнями тысяч. А маршруты проповеднических трудов отца Мэтью складывались в тысячи английских миль.

«Дело народного трезвения, – рассудил Холодов, – хотя и случилось в папской Ирландии, где католикам привычно соблюдать дисциплину, но пример внушает почтение. У нас на Руси любители давать клятвы и зарок ещё не перевелись, и спасительной ассамблее требуется устроить правильный ход. Мужикам здоровье и здравомыслие, их жёнам покой с достатком, а церкви Божией прибыток и уважение властей».

На имя губернатора Модест сочинил витиеватое, с многословным цитированием Евангелия, письмо. Епископ от протоиерея получил деловое и довольно заманчивое прошение. Холодов предлагал устроить конный поезд, соорудить на нём малую звонницу, приторочить к телегам чудотворные образы и на великие праздники, степенным цугом, даже зимой и в распутицу, объезжать Тверь. Купцы, торгующие вином, согласно холодовскому плану, должны были взять на себя расходы по содержанию «трезвеннического поезда». Им предлагалось выделить лошадей, пошить новую упряжь, заготовить овса, положить жалование певчим и звонарю. Священнику, то есть самому отцу Модесту, подобало сделать щедрое пожертвование, а епископу, если его преосвященство соизволит возглавить процессию, подарить новую на рессорах коляску или целый дормез с диванчиком и столом. Торжественный крестный ход (рассчитывал отец Модест) обойдёт город троекратно. В пути крестоходцы будут останавливаться, поднимать иконы, служить особые молебны. Из бочки крещенской водой свя-

щенники начнут кропить собравшийся народ, дома, бани, сараи, мычащий скот, ошалевшую птицу. И так до тех пор, пока вдохновлённые невиданным действием тверитяне не прекратят пьянствовать и не примчатся к нему, Холодову, давать зарок окончательной трезвости. Ирландец Теобальд постыдится своих успехов, а император или, как минимум, Священный синод присмотрятся к тверским изобретениям. Привлекут их автора в столичные сферы.

О проекте Модеста Кузьмича Болеславлев узнал от Фиолетова. Собирая средства на «трезвеннический поезд», отец Модест много раз досаждал покойному: то коляски просил покрасить, то на новые ризы к иконам денег, то себе праздничное облачение. Иван Лукич не жадничал, но жертвовал с умеренной купеческой щедростью.

«Смотрите-ка, – хмыкнул в усы Василий Фёдорович, – сам Холодов попрощаться пришёл. Других дел нынче у него нет. Скоро Покров и грядёт очередная песенная круголяка. Даже метель трезвенников не остановит. Клятвы и зарок народ даёт охотно. Особенно из крестьянского сословия мужики и мастеровые с мещанами. Только всё это пустое. Россия – страна, где всё быстро утекает, забывается, как пена в речных волчках – стремительно тонет. Зарок, что после Покрова принесут, к Пасхе поблékнет. Сначала, словно снег, которым мы в конце ноября забиваем погреб, он лежит плотной ледяной глыбой, а на Благовещение глядь: весь уже почернел, размяк, истаял. Только мутная лужица на земляном

полу. Кому, зачем его давали? Необратимость жизни берёт своё. Впрочем, явился отец Модест к Ивану Лукичу, так и слава Богу. Теперь только Фиолетову известно, есть ли в трезвенных клятвах хоть какой-то смысл. А нам ещё «Последнее целование» пропеть нужно».

Протоиерей Холодов остановился около напольного киота с образом святой Параскевы Пятницы и пристально щурился, перебирая лица молившихся.

Гроб с телом Фиолетова взгромоздили на здоровенные плечи похоронщиков. Оршинские монашки подняли еловые венки; родители, страшая толкотни, оттащили детишек по стенам; хор затянул «Святой Боже», и процессия медленно двинулась к выходу. Сквозь клубы весело дымившего кадила Василий Фёдорович увидел, как стремительно мокнет, оказавшаяся в струйном перехлёсте промозглого дождя, широкая белого старичьего камня паперть. Прорвавшаяся сквозь грязное олово туч осенняя хлябь барабанила по железному козырьку, над входом в церковь. Протоиерей слышал, как ворчит старая помещица Зарубина, кашляет купец Локтев, сморкается судья Поликарпов. Различал, как бьют сапоги военных, купцов, стучат медные подковки женских чириков и спорят о чём-то певчие.

Лик поднятого покойного оставался открытым и незащитным. Даже завеса от тающего ладана не скрадывала черт Ивана Лукича. Белёсый дым мягко обтекал Фиолетова, стелился по широким половицам, прокрадывался к суровым ликам потолочной росписи и в секундных завихрениях напротив утеплённых окон

сворачивался вьюнками. Будто сквозь перистое облако скорбная домовина купца проплывала в клубах этого дыма.

– Небо по Ивану Лукичу плачет, – запричитала вдова. – Гляньте только, что за окладное ненастье нынче!



– Вся природа скорбит, – поддакнула ей маленькая монахиня.

– Горе миру и грешникам его жестоковыйным, – поддержала сестру высокая инокиня.

– Двигай шустрее, – пробасил мрачный псаломщик.
– Не приведи Господи, вымокнем, сами помрём. Кто нас, сирот, тогда понесёт?

Когда отец Василий пропел Вечную память, припадок ливня окреп и хлестал уже холодной стеной.

– Ну вот, – прогнусавил кто-то из похоронщиков, – Господь принял душу бедного Ивана Лукича. Смотрите, какую стихию для омовения архангелы снарядили.

– Природа плачет о рабе Божьем, – вздохнула старая Филипповна. – Нас, бессердечных, учит, как надо доброго человека жалеть. А мы, олухи, не понимаем.

– Зато сейчас предадим земле и, как положено, помянем, – примиряюще сказал Локтев.

– Выноси, православные, – деловито распорядился псаломщик. – Только крышкой давайте здесь покроем. Мокрого хоронить негоже.

Крутояров помог похоронщикам положить крышку на гроб. Распорядился её слегка прихватить пеньковыми верёвками, но заколачивать домовину не разрешил.

Сказал: «Доставим Ивана Лукича на Смоленку. Глядишь, Господь смилуется. Хляби утихнут, и мы на могилке с открытым гробом ещё литию справим. Так, отец Василий?»

Болеславлев согласно кивнул.

Хоронить Фиолетова должны были на кладбище при храме Смоленской Божией Матери, или, как говорили в Твери, «на татарских горках». Народ с одинаковой нежностью берёт предания героические и прозаические. К первым относились рассказы о чудесах погибшего в Орде святого князя Михаила, а ко вторым – предание о татарских всадниках, собиравших на этих «горках» с тверитян ясака. Дань в пользу Орды, где по приказу хана Узбека подлый москвит Романец зарезал тверского князя. В народной памяти один рассказ странным образом уравнивал другой. И князь – мученик, и от москвичей добра не жди. Предадут.

По многим причинам кладбище, устроенное около Смоленского храма, считалось престижным и благодатным. Купцы, военные, дворяне, чиновные люди в «духовной», то есть в завещании, старались определённо прописать, где именно им хотелось быть похороненными. О мистической значимости тех или иных захоронений богатые горожане любили пылко посудачить. Мастеровых погребальные заботы занимали меньше, но «лежать на Смоленке» не отказался бы никто. Рядом роща, пруды речки Лазури, образовавшиеся в начале строительства Николаевской дороги сады, огородные наделы ямщиков и крестьян.

Оттуда, даже если нога за ногу идти, всё равно через час с четвертью окажешься в самом центре Твери. На Трёхсвятской или Миллионой. Наиболее благодатным кладбищем считалось собрание некрополей в Желтиковом монастыре. Но туда погребали за особые



церковные заслуги или щедрое пожертвование. Хорошить же Фиолетова на Предтеченском, Волынском или Неопалимовском в голову никому и не приходило. Купеческий уровень повыше. Тем более «духовная» прямо указывала на Смоленское.

Погосты и некрополи, давно уже решил Болеславлев, имеют у нас великую скрепляющую силу. С древнейших времён русские могильники и городища – не просто место поклонения, но источник народной

поэзии. То есть явление живой духовности. Эпитафии на памятниках – не обычные благочестивые надписи, а особый жанр творчества. Иногда гражданско-го, но чаще лирического и даже мистического. Своего рода философия.

«Хотите узнать, что примиряет и вдохновляет нацию? – говорил отец Василий тверским семинаристам. – Составьте антологию хотя бы местных надгробий, и малое покажется значительным».

(Ничего путного бурсаки не составляли. Кому охота бродить среди чугунных и каменных крестов, мрачных плит? Бывая по священническим делам на кладбищах, особо понравившиеся эпитафии Болеславлев записывал, но самому заниматься такого рода антологией времени не хватало.)

Гроб с усопшим похоронщики вынесли споро. Осторожно спустили с паперти и, громко пыхтя, взгромоздили на новые, украшенные траурными лентами, ладные дроги. Оглобли запряжённого в погребальный поезд мерина драпировала иссиня-чёрная тесьма, а колеса дрог местный затейник умудрился декорировать бумажными розами. Ливень, перемутивший воду всех ближайших луж, лишил фальшивые цветы изначального оттенка, но в расплывшихся бутонах священник различил сочетание аметистового и алого.

«Живём в неге, а ездим в телеге, – пробормотал Болеславлев. – И на её лафете, что от нас останется, в нужный час повезут. С цветами или просто так. А мне-то что теперь делать?»



Перед Василием Фёдоровичем стоял вопрос: как добраться до кладбища? На Смоленское он мог отправиться пешком, вместе со всей процессией. Нужно было идти впереди дрог с гробом, затягивая время от времени: «Святый Боже, Святый Крепкий...» Народ обычно подхватывал. Да и хор, если вдова за литию на могиле уже приплатила, охотно подтягивал. Но при таком раскладе заработать простуду дело пустяшное. Сапоги у протоиерея были ещё крепкими, а вот осенняя ряса давно прохудилась. Надеть на голову тёплую скуфью труда не составит, только от бесчинства погоды она не спасёт. Еще до кладбища насквозь промокнет. Отказаться от проводов и краткой молитвы у свежего могильного холмика Болеславлев даже не думал.

Соверши он такую глупость, тверитяне не просто сочтут его слабаком, а выставят грубияном и шлындой. В их глазах подобное пренебрежение традицией выглядело чистой воды ересью и откровеннейшей хулой на Святого Духа. Они рассуждали: «Если православный нагрешил, пускай и тяжко, но, покуда его ноги носят, всегда можно успеть покаяться. А вот взять и не бросить на гробовую доску ком сырой земли – преступление, за которое прощения нет». Не все, конечно, так думали, но многие.

Вопрос ждал решения. А в минуты сомнений Василий Фёдорович читал краткую и, как ему казалось, исполненную истинным богословием молитву блаженного Августина: «Господи, ни о чём Тебя не прошу, только дай мне нынче знать мой следующий шаг. Аминь». Мо-

литва произносилась трижды, после чего случалось поймать новую, иногда совсем неожиданную мысль или внимательно оглядеться. Приходили подсказки. Протоиерей трижды прочёл молитву. Мысли не появились. Нужно ждать подсказки.

Дождь не только не унимался, но с новой силой барабанил по крыше, бился в крышку немедленно намокшей домовины Ивана Лукича. Прячась под аркой железного козырька, Болеславлев начал всматриваться в многолюдное пространство церковного двора. Проститься с Фиолетовым приехало немало знатных горожан. Простые мещане пришли пешком. Несколько колясок размещалось около ворот снаружи, другие занимали правую часть улицы, и одна коляска неожиданно привлекла внимание. Модной поярковой шляпой из неё протоиерею живо махал мужчина. Василий Фёдорович пригляделся и в размахивающем человеке признал настоятеля Косьмодемьянской церкви Петра Павловича Илиотропионова. Движения, производимые отцом Петром, показались Болеславлеву не только энергичными, но дружественными, хотя ни к кому из собратьев особого тепла Пётр Павлович не испытывал. Об этом знало всё тверское священство, но на Илиотропионова не обижались. Мало ли какие странности случаются: один пастырь людей душой любит, другой – на них душу отводит. Болеславлева больше удивило не то, что ему подавали знаки, а сам факт прибытия отца Петра в коляске. Той самой, легендарной, коляске.

Два последних года правления в епархии владыки-Сапога коляска Илиотропионова не давала покоя тверским балаболам. По городу ходили весёлые прибаутки и натуральные анекдоты. Любители русской словесности, повстречав отца Петра, вежливо кланялись, а разминувшись, прыскали в кулак: «Экий гусь прошёл! Чисто наш Пифагор Пифагорович. Куда он сегодня свой тарантас припрятал?»

Болеславлев считал, что равнять Илиотропионова с гоголевским героем Чертокуцким ошибочно. Да, у обоих участников историй коляски были. Особые, возможно венской работы, на шикарных рессорах, с кожаным фартуком и прочее, прочее. Но если герой Гоголя в коляске от генерала постыдно прятался, то отец Пётр свою игрушку генералу церковному, то есть епископу, просто не показывал. Направляясь на архиерейские службы, наведываясь в консисторию или посещая губернские собрания, в точку прибытия косьмодемьянский настоятель всегда немного не доезжал. За два-три квартала он останавливал дорогой экипаж, приказывал кучеру



ждать, а к заветному месту пробирался задними дворами. За манёврами внимательно наблюдали бдительные тверитяне. Сопоставив несколько свидетельств этой беззлобной слежки, авторам анекдотов легко было догадаться, куда и когда держал путь Илиотропионов. О существовании коляски знали все. Первым, конечно, прознал епископ. Но будучи в церковной политике крепко искушённым, с решением не торопился. Ждал случая. А тут вдруг его перевели. Новый владыка Артист слухи о таинственной коляске пропустил мимо ушей. Он был целиком сосредоточен на собственном образе и разбираться в поповских покупках считал делом мелочным. Так что Илиотропионов немного успокоился и потихоньку стал выезжать открыто. Далёкий от консисторской возни, Болеславлев только сейчас

увидел прославленную колесницу отца Петра. Да ещё сам хозяин темпераментно шляпой машет.

«Что ж, – подумал Василий Фёдорович, – вдруг это и есть мой шанс добраться сухим к Смоленской? Пойду, раз зовут».

В коляске у Илиотропионова пахло свежесделанной кожей, табаком и резковатым «Парфюм де фурор» производства

Альфонса Ралле. Отец Пётр любил хороший парфюм и крепкие филиппинские сигары. От стойкой курительной привычки пышные усы косьмодемьянского настоятеля приобрели забавный канареечный оттенок, а зубы священника подёрнулись мутной шафрановой плёнкой. Но поскольку улыбался Пётр Павлович крайне редко, эти физиогномические детали оставались малоприметными. Источники доходов отца Петра покрывала завеса таинственности. Поговаривали, что ему шибко везёт в картах и бабушка Петра Павловича, древняя монахиня Суламифь Степановна, ему «на удачу» колдует.

– Примите по маленькой? – Илиотропионов деловито поднял крышку дорожного сундучка. – За Фиолетова нужно непременно опрокинуть по маленькой. Сами знаете, душа его отлетает и радуется каждому доброму вздыханию. У меня припасены мадера, хлебная и фруктовая от Терентьевых. Присаживайтесь рядом. Здесь весьма покойно. На рытвинах не бросает. Тверские дороги, знаете ли, весьма ухабисты.

В приоткрытом сундучке Болеславлев разглядел тонкие горлышки зелёных бутылок, головку хрустального графина, три медных немецких стаканчика и две большие переспелые груши.

– Премного благодарен, – смутился Василий Фёдорович. – Но мне ещё выходить к могиле, погребать и последнее слово произнести.

– Так что с того? – Илиотропионов уже доставал графин, – Глоток хлебной лечит, потому как наше вино впе-





реди любой хвори бежит и малейшую заразу отгоняет. Я Вас к могиле ровненько доставлю. Пока православный народ за дрогами топает, мы Ивана Лукича помянем, а ужо придут похоронщики к раскопу, так с Вас водочный дух соколом слетит.

Отцу Петру отчаянно хотелось и купца помянуть, да и просто выпить. Как говорили в Твери – «малость подхмелиться». Это тонкое душевное состояние Болеславлев неплохо знал. Человек, оказавшись в нём, чувствует одновременно нечто сродни тоски и опустошённости. Грустит, отыскивает повод развеять душевный морок и несказанно рад, когда законный повод найден. Пить просто так – дело гиблое, но при внятном объяснении причины «опрокидывания маленькой» и себя сам жалеешь, и ближние твои к твоей немощи терпимее.

– Помилуйте, Ваше высокопреподобие. Никак не могу нынче употреблять, – Болеславлев на груди сложил ладони лодочкой. – Пока отпевал Ивана Лукича, желудком измучился. Еле до Апостола дотянул. Такая напасть случилась. Никакие напитки в горло не лезут.

– Это Вы, отец, нынешним Успенским перепостничали, – назидательно пробасил Илиотропионов.

– Вериги надели на себя неподъёмные. Разве Устав запрещает болящим питаться всем, что посылает Бог? Наоборот. Ему не угодны молитва пьяницы и голодание болящего. Господь радуется христианину здоровому, улыбчивому, с хорошим пищеварением и крепким духом. Вот возьми нынешнего владыку. Любо-дорого посмотреть. Орёл! В Петербург ему лететь на лёгком облаке.

– Да уж, – осторожно кашлянул Болеславлев, – лететь. А Вы меня до Смоленки доставите?

– Вмиг пребудем. Эй, Николка! – крикнул вознице отец Пётр. – Трогай. А я уж, коли Вы хлебной не будете, выпью за покойника мадеры. Фиолетов сам почти не пригублял, но как сядем с ним в пульку резаться, так Евпраксия Псоевна нас всегда мадерой обносила. Иван Лукич, прими Господь его душу, в игре не благословлял употреблять даже настойки. Говорил: «Ясная голова чертополох увидит». Философ был знатный. Ну... поехали!

Последнюю фразу Илиотропионов произнёс, выпивая полный стакан. Коляска тронулась, но Василий Фёдорович успел разглядеть, как дроги с телом покойного купца медленно объезжают вокруг храма.

«Словно Ивану Лукичу крестный ход устроили, – подумал протоиерей, – развернуться у ворот не получилось, и Господь его отправил той же дорогой, что на Пасху и в престольный с хоругвями ходим. Знак это или случайность? Случайностей, если святым отцам доверять, не бывает, а знаки толковать бессмысленно.

Может, просто мерин заупрямился и сам потопал во-круг церкви? А если и знак? То чего? Праведности, преданности храму? Поди разбери».

Вопреки обещаниям Илиотропионова, до Смоленского ехали долго. Можно сказать «тащились». В очередной раз город удивил Болеславлева.

Тверь, считал Василий Фёдорович, разительно отличается от других губернских столиц, потому что в далёкой истории тверским горожанам была нанесена глубокая рана. Как если бы медведя, спящего в зимней берлоге, острой рогатиной поранили злодеи, рассуждал протоиерей. А мишка потом насилу вылез. Кругом сугробы, ледяная стынъ и луна на чёрном небе, словно колокол без языка. Выть ему страшно, бежать некуда, берлога разворочена, и бродит он в трёх своих мохнатых елях. Ищет покоя. То нору примется новую рыть, то ёлки эти проклятые ломает. А всё из-за раны, которая ноет и заживать не собирается. Так и наш город. Качает его, словно подраненного медведя. Дома строят, а они, глядишь, уже все покорёжены. Дороги кладут, а те, миг прошёл, и расплылись. Одно крепко стоит: церковь, да кладбище при ней.

На Смоленском у вырытой могилы народу оказалось больше, чем в храме. Пришли власьевские крестьяне, которым Фиолетов пожертвовал денег на мельницу; прискакали драгуны Тверского полка; в старом, перелицованном тарантасе приехал драматург Островский. Все ждали похоронный поезд, а дождь никак не утихал.

В Твери любили готовить глубокие могилы. Мастера погребального дела копали сноровисто. Стены открытой щели филигранно шлифовали острым обрезом осинового лопаты. Попадавшие корешки тщательно срезали тесаками, подрубали особым топориком. Песок или глину старались выкладывать наверх крестом. По двум боковым сторонам раскопа набрасывали с горкой, а там, где предполагалось быть ногам и голове усопшего, подсыпали самую малость. Крест получался символический, но где гуляет смерть, как обойтись без знаков и символов? Могильщиков, впрочем, как и анатомов, в Твери побаивались. Остерегались обидеть и к положенной за работу сумме всегда приплачивали хлебным вином. Многие из могильщиков быстро спивались, но те, кто научился пить не хмелея или не бражничать вовсе, завоевывали особое почтение горожан.

Болеславлев дружил с одним из таких. Звали его Гурий. Высился Гурий на голову выше обыкновенного человека и величал себя не иначе как «мастером земляных дел». На Смоленке



он имел из вольноотпущенных, но не прикипевших к порядочному делу крестьян маленькую сплочённую дружину. Хоронили здесь часто, так что дружине работы хватало. Особенно зимой, когда земля льдом встанет, а народ скор на хвори и быстрые похороны. Через день то младенчиков, то стариков в свежие могилы провожают. Гурий хранил трезвость и от вина своих братчиков сурово стерёг. У него была жена, трое детей и домик в деревне Бобачёво. Но главное – Гурий умел читать! На этой почве они с Болеславлевым и сошлись. Точнее, познакомились. Года два назад Василий Фёдорович пришёл на Смоленку петь панихиду по своей супруге. Прилучилась очередная годовщина её кончины. Отслужил всё положенное, собрал поповский скарб, отправился было домой. Но только вышел за кладбищенскую калитку, как слышит густой летящий ему в спину бас: «Отец святой, обожди! Фета потерял. Негоже стихи по могилкам раскладывать». И точно! Пока он в мешок увязывал кадило с углём и ладаницей, книжка Афанасия Фета оттуда и выпала. Поэзия такая протоирею нравилась. А сборник Фета он неделю с собой как носил. Всё собирался Дуняше подсунуть и вот чуть было не потерял.

– А ты, брат, знаешь стихи Фета? – искренне удивился протоиерей.

– Не, стихов не знаю, но название книжки прочитать могу, – расплываясь довольной улыбкой, ответил мужик. – Нам такое ни к чему. Я люблю губернские газеты. Там про настоящую жизнь. А рифмы и чувстви-

тельные материи – это для тех, у кого кошелёк увесист, да сапоги не изношены.

– И то верно, – согласился Болеславлев. – Но если хочешь, оставь почитать себе. Я служу во Владимирской. Можешь при okazji туда занести. Скажешь: «Благословили отцу Василию вернуть».

Большими красными пальцами Гурий осторожно полистал книжечку Фета и, шумно выдохнув со словами «Нетуту для этого времени», захлопнул.

Тем не менее, оказываясь на Смоленке, Василий Фёдорович всегда справлялся о Гурии, а главный городской гробокопатель стал захаживать к отцу Василию. Сидели в церковном дворике, калякали за жизнь и всяческие духовные тонкости.

Коляска Илиотропионова остановилась около бокового восточного входа в Смоленский храм. Василий Фёдорович вылез и направился к кучке мужиков, державших натянутую на жердях рогожу. Под импровизированной крышей рогожки возвышался «мастер земляных дел». Был он одет в кафтан, густо испачканный глиной, широкие портки и стоптанные сапоги.

– Бог в помощь, Гурий! – приветствовал старого знакомого Болеславлев. – Могилка Ивану Лукичу готова? Или всё водой сплошняком залило?

– Что ты, отец, как можно? – Гурий усмехнулся, – мы и в заметь, и во вьюгу завсегда доброго человека схороним. А тут ерунда – дождик осенний. Во влажную землю лечь самое милое дело. Проливным дождём и живые крепко спят. Ёловых лап полтелеги нарубили.



Ими вся усыпальница устелена. И поверху ещё накидаем. Лепота. Фиолетов доволен будет. Достойный был купец. Ни с кем не лаялся. Ангелы таких людей пряниками встречают.

– Небесными пряниками? – Болеславлев, привыкший к неожиданным метафорам Гурия, далее уточнять не стал. – Пойдём к могиле. Скоро погребальный поезд прибудет.

Через две четверти часа, подрагивая на крупных булыжниках мощёной дороги, раскачиваясь от хлёстких ливневых ударов, в створ ворот храма Смоленской иконы Божией Матери въехали дроги с телом Ивана Лукича. Следом двигалась изрядно поредевшая траурная процессия. Опираясь на руку брата, шла Евпраксия Псоевна. Зонтик над ней держал один из младших офицерских чинов. Дети, на каком-то отрезке пути переставшие обходить бурлящие лужи, окончательно вымокши, брели за матерью. Оршинские монашки для удобства перебросили венки за спины, и могло показаться, что они несут хворост,





собранный на опушке леса. Счастливый обладатель настоящего английского макинтоша, купец Локтев, подбадривая изрядно приунывший хор, пел «Святой Боже, Святой крепкий». Макинтош его дождя не боялся. На почтительном расстоянии от процессии следовали коляски родственников, друзей и прочих участников похорон.

У свежерытой могилы Ивана Лукича, засыпанной ярко-зелёными, промытыми дождём ветками смолистой ели, встретились очень разные люди.

«Милость Божия, – подумал Болеславлев, – жил человек, для многих был своим, нужным и важным. Теперь помер. Вот стоят они, смотрят друг на дружку и не понимают: что их здесь нынче соединяет? Кого-то покойный любил, многим помогал и всех жалел. Натура такая была. Редкая. Потому и собрались. Когда из мира даже совсем малый праведник уходит, в природе грусть и тоска разливаются. Может, и вправду Вселенная дождём плачет».

Гроб подняли с дрог, бережно опустили на приготовленные у могилы лавки, и Василий Фёдорович начал читать девяностый псалом.

Зонт над головой протоиерея держал Гурий. Дождь, хотя и ослабел, бил наискось, противно. Кадило не загорелось, а из Смоленского храма никто огня не принёс. Литию пропели быстро. Гроб обвязали суровыми полотняными лентами и медленно, чуть покачивая, опустили в могилу. Сверху посыпались еловые лапы, комья земли, песок. Быстро вырос холмик. Хор тихо



пел. Плакали власьевские крестьяне; отцы Модест и Пётр распорядились установлением деревянного креста; монашки сбились в маленькую чёрную стайку, подпевали хору; Евпраксия Псоевна, не мигая, наблюдала за суетой, происходившей вокруг её почившего мужа. Василий Фёдорович почувствовал, как отяжелела намокшая ряса и предательски захлюпал нос. Он произнёс краткое слово, вежливо пожал холодную руку вдовы, раскланялся с офицерами, купцами, наперсным крестом осенил крестьян, служилый люд, кивнул Холодову с Илиотропионовым и тихонечко ушёл.

На поминки Василия Фёдоровича, конечно, звали. Но тут не до трапезы. Желудок шалит, и вымок весь. Домой Болеславлева доставил кучер непромокаемого купца Локтева. Вечерние сумерки открывали калитку сада.

В доме было свежо и сухо. Зябкие осенние сумерки ещё только подступали, обволакивали прогретое минувшим летом убежище Болеславлева. Ни им, ни даже грядущим ноябрьским туманам никогда не удавалось проникнуть сквозь ладно подогнанные и терпеливо проконопаченные стены. Даже когда январские морозы ломали яблони, трещали под окнами, рвались через щели погреба, дом, словно непреклонный богатырь, стоял и сосредоточенно отражал все атаки суровых врагов.



Болеславлев не верил в домовых, но склонялся к мысли, что в отсутствии хозяев любой дом начинает жить особым образом: противится ветрам, снежной и дождливой погоде, бережёт тепло печей или прохладу уютных спален. Дому нравится, когда, возвратившись после долгой отлучки, хозяева глубоко вдыхают его нутряной запах и счастливо произносят: «Ну вот, мы и дома!» Василий Фёдорович предполагал, что именно дом управляет собираемыми в него вещами. Хозяевам кажется, будто перестановка мебели, раздвижение стен, возведение новых перегородок – дело их интуиции, результат воображения. Но на самом деле именно дом решает, как лучше и правильнее существовать всему интерьеру. (Без сомнения, речь шла исключительно о доме, стоящем на собственной земле, а не про улья модных квартир. Протоиерей искренне жалел тверитян, вынужденных обретаться в пусть даже просторных, меблированных, но всё же квартирах.)

Только отдельный, собственный дом, считал Болеславлев, может хранить настоящую тишину. В молчании его коридоров, покое дальних комнат, в затишье опустевшей гостиной, умиротворении библиотеки человек способен слышать себя. В таком доме не бы-

вает гнетущей немоты, могильного безмолвия и глухих шагов. Половицы могут поскрипывать, печная заслонка давать тонкую струнную ноту. Бывает, ударом ветра форточка стукнет, мышь в подполе развоюется, чашка с полки упадет и вдребезги разобьётся, но это только подтверждает ощущение независимой жизни дома и его внутренних хлопотах.

Хорошо, когда в доме готовят пищу и есть надёжные запасы провизии. Такой малой крепости доверяешь охотнее. Особого провианта у Василия Фёдоровича не водилось, но, по тверским меркам, протоиерей был обеспечен. Мать покойной супруги Василиса Кирилловна заботилась не столько о вдовом зяте, сколько о внучке Евдокии. Опека её заключалась в приготовлении и доставке крупных запасов всяческих засолок, маринадов, сушёной провизии. К Михайлову дню погреб Болеславлевых всегда был забит самой разнообразной снедью. На леднике лежали ровные штабели отборных судачков, потрошёные и слегка присоленные караси, тёмно-зелёные тушки щук и налимов, а также мелочь



селигерских снетков. В особо огороженном месте Василиса Кирилловна разместила пять средних дубовых бочек. В первой хранилась квашеная белокочанная капуста. Вторую занимали приправленные тмином, хреном и черносмородинным листом огурцы. Третья бочка предназначалась для крепких зелёных помидоров. В четвёртую ровными слоями укладывали пригодные для солений осенние грузди с рыжиками и маслятами. А пятая, гордость тёщи, набивалась маленькими арбузами. Это были особые, тонкокожие, упругие плоды. Солить их умела кухарка Василисы Кирилловны, солдатка Катя. Арбузы лопались и хрустели. Съедали их к Сретенью. Дольше они не лежали. Остальные бочки подъедались ровно к Лазаревой субботе или чуть подольше.

Под крышей дома, на чердаке, неутомная Василиса Кирилловна развешивала сухих лещей, плотву, густёрку и вяленую осетрину. Готовить из всего этого богатого набора припасов Василию Фёдоровичу приходилось редко. Пока Дуся не уехала в Москву, некоторое движение разносолов ещё наблюдалось, но теперь всё происходило «вдруг», или, как говорила дочка, «спонтанно». То есть: заглянул протоиерей в погреб, положил себе на тарелку огурец, подсыпал капусты, черпанул ложкой рыжиков – и замечательно. А если приготовил судака с гречневой кашей, считай, вышла пирушка с размахом.

– Выпиваю вечером стопочку грушевой, и сердцу тепло, – рассказывал Василий Фёдорович отцу Ивану

Белюстину. – Голова светлеет, мысли роятся одна другой веселее и необычней. Пока первую ловишь, замечтаешься и в дрёму уплывёшь. Сны с такого повечерия всегда мягкие и светлые. А на закуску хорошо ржаной хлебец с грибом и осетровой боковинкой.

– Это вы там в Твери жирно шикуете, – отвечал суровый калязинский подвижник, – наш брат, сельский поп, от сохи до гумна бежит, прежде чем в алтарь заглянет. Про книжки мало кто слышал. Работа, служба, молебствия. Не до мыслей под грушёвку с боковинками.

Сапоги Болеславлев стянул в сенях. Размотал онучи, босым вошёл в переднюю. Там его ждали низкие шерстяные валенки и стёганый халат.

Обычно он надевал его поутру. В нём вычитывал Правило. Летом появлялся на крыльце дома, бродил меж огородных грядок, нащипывал пригоршню крыжовника; в халате садился пить чай с калачом, читал свежий номер «Москвитянина», почту, губернскую газету. Не сбрасывая халата, часа два корпел за письмен-



ным столом над различными бумагами. В халате дремал перед обедом. Если день выпадал рядовой, то есть без служб, молебнов по дворам прихода, семинарских часов, посещения родни и приятелей, то в нём же появлялся на дневную трапезу. Халат чистили, штопали. В погожий день, когда Болеславлев отъезжал по делам, халат вывешивали на верёвки, и Дуняша выколачивала его особо выструганной палкой. Осенью под халат требовалось надеть длинную рубаху. Зимой поверх халата Болеславлев любил набрасывать шерстяное одеяло и сидеть на крыльчке, пока не замерзали кончики ушей.

Этим вечером Василий Фёдорович на пустые дела время тратить не собирался. В его планы входили короткий ужин и написание послания Дуняше. Недра серванта скрывали два больших ломтя пшеничного хлеба и пирог с творогом. Оставалось приготовить чай, достать из погреба кусок просоленной рыбицы, и трапеза готова. Пока снимал мокрую ряску, менял исподнее, сушил голову и бороду полотенцами, заваривал чай, пролетел час. Сумерки за окошком затопили весь сад. Болеславлев затеплил лампы в комнатах, а в кухне запалил три больших свечи.

Творожный пирог Василий Фёдорович разделил пополам. На каждый кусок пшеничного хлеба он положил по тоненькой пластинке солёной рыбицы, щедро посыпал сухой приправой, капнул льняного масла. Затем протоиерей разрезал два яблока. Первым под острым ножиком брызнула толстокожая антоновка, вторым от простого сдавливания чуть не развалилась

матовая боровинка. Фарфоровая рюмочка была наполнена тёмным тягучим ромом. Василий Фёдорович глубоко вдохнул, крестным знаменем осенил рюмку, поднял глаза к иконам в киоте в углу, перекрестился сам и, длинно выдохнув, произнёс: «Так-то, брат Иван Лукич, похоронили мы тебя. Теперь ты с нами, но не здесь, а мы с тобой, но ещё не там. Доброй дороги тебе к Богу. Лёгкого пешешествия. Прими, милый Господи, купца Фиолетова в Своё Небесное Царство. Аминь». Залпом выпил ром, задумчиво сжевал сначала кусок пирога, после половину яблока и проглотил хлеб с рыбицей, запивая всю нехитрую трапезу чёрным чаем. «Пора приниматься за письмо, – решил Болеславлев, – только книжку принесу. Ритуал остаётся ритуалом. Чтобы хорошо писать, нужно правильно читать».

Среди привычек, приобретённых за годы семинарского бытования Василием Фёдоровичем, была одна довольно экзотичная. Собираясь сесть за составление доклада, готовя конспект праздничной проповеди или размышляя над письмом, Болеславлев брал книгу по содержанию нынешней его теме совершенно противоположную. Хорошо, когда мозг, считал протоиерей, рассматривает предмет от сиюминутной задачи чрезвычайно удалённый. Если приниматься за русское стихосложение или сводить финансовый баланс, так в подлиннике весьма полезно прочесть страничку Шатобриана. Мозг, словно атлет с гирями, разминается перед схваткой. Для него изящный французский роман как тренировочный бой на ринге.



Готовясь к лекции по церковной истории, Василий Фёдорович открывал наугад сильно потрепанный томик «Теодицеи» Лейбница, в переводе Истомина. Осиливал две страницы. Многозначительно вздыхал: «Даёт же Господь немцам разум!» и терпеливо принимался за составление хронологии мусульманских завоеваний Испании. А собираясь расположиться за денежными ведомо-

стями причта, он прежде внимательно исследовал свежий номер «Северных цветов» Дельвига. Начитывал свежих стихов, а уже потом заставлял мозг морщиться над закорючками цифр. Вот и сейчас, настраиваясь на «второе дело дня», то есть на сочинение письма Дуныше в Москву, Болеславлев сходил в кабинет и принёс книгу. За корешком увесистого тома в качестве закладки торчала сушёная веточка малины.

«Ага, – довольно хмыкнул протоиерей, – сей фолиант мы уже листали, но до конца не исследовали. Кто же наш нынешний вдохновитель?»

Василий Фёдорович открыл книгу на заложенной странице. Медленно перечитал заголовок статьи: **«Ломоносов М.В. Явление Венеры на Солнце, наблю-**

денное в Санктпетербургской императорской Академии Наук мая 26 дня 1761 года».

«Вот аж куда угораздило меня добрататься, – многозначительно покачал головой протоиерей, – здесь Михайло Васильевич сообщает про открытие на Венере атмосферы. Отчего бы ей там не быть? Господь дышит где хочет. И дыхание это вполне пригодно нашим лёгким. Эге, тут я, похоже, даже что-то карандашиком чиркал».

Болеславлев присел на табурет, сдвинул свечи, сделал большой глоток чая и негромко перечитал отмеченную фразу: *«Некоторые спрашивают, ежели-де на планетах есть живущие нам подобные люди, то какой они веры? Проповедано ли им евангелие? Крещены ли они в веру Христову? Сим даётся ответ вопросный. В южных великих землях, коих берега в нынешние времена почти только примечены мореплавателями, тамошние жители, также и в других неведомых землях обитатели, люди видом, языком и всеми поведением от нас отменные, какой веры? И кто им проповедал евангелие? Ежели кто про то знает или их обратить и крестить хочет, тот пусть по евангельскому слову туда пойдёт. И как свою проповедь окончит, то после пусть поедет для того ж и на Венеру. Только бы труд его не был напрасен. Может быть, тамошние люди в Адаме не согрешили, и для того всех из того следствий не надобно. «Многи пути ко спасению. Многи обители суть на небесех».*

«Как красиво писали в минувшем веке, – Василий Фёдорович блаженно улыбался, – каждое слово играет, фра-

за звучит, предложения одно к одному льнут, и смыслы, словно колечки кадильного дыма, сплетаются в чарующий рисунок. Текст благоухает, хотя и не всегда вразумителен. Вот что Ломоносов хотел сказать? Есть на Венере люди или нет? Как туда проповеднику Евангелия попасть? А если жителей той планеты первородный грех счастливо миновал и для них требуется совсем другая проповедь? Уму непостижимо! Но достаточно прочесть, и сердце гармонией слога начисто успокаивается. Сейчас на эти темы пишут куда как проще, хотя и лиричнее. Как там у Аскоченского Виктора Ипатьевича:

*Небо голубое
Убрано звездами;
Хочется узнать мне –
Что это за звезды?
Кто в них обитает –
Ангелы ль Господни,
Души ли отшедших,
Иль иные твари?
Знают ли жильцы те
Бедствия паденья?
Было ли для них там
Дело искупленья?..*

Хотелось бы, конечно, про эти материи более подробно распознать. А ещё любопытно, куда запропастилась медовая коврижка? Третьего дня в сервант припрятывал. Теперь полное неведение её бытия. Может сам ненароком умял? Задумался и оприходовал. Тоже некая тайна».

С трапезой было покончено. Вернув книгу в кабинет, Болеславлев вернулся на кухню. Принялся за письмо:

Здравствуй, дорогая дочь, душа моя, Дуняша! Как ты там жива и здравствуешь? С Михайлова дня всё собирался засесть за письмецо к тебе, но волны житейского моря мою уютную лодочку неизменно сносили к водоворотам и рифам. Потопить, тем паче расколоть, о скалы не посмели. Небесный Лоцман хранил старого капитана, то есть меня, и всю нехитрую команду: читай кота Томаса и малый клир Владимирской церкви. За писанием нынче я расположился не в кабинете, а на кухоньке. Всё оттого, что к обеду, совершенно заиндевеливший и насквозь мокрый, вернулся со Смоленского кладбища. Похоронили мы нынче купца первой гильдии Ивана Лукича Фиолетова. Помнишь его? Добрый был человек. Умный, внимательный, щедрый и, что теперь редкость, благодарный. За все говорил не казённое «спаси, Господи», но тёплое «сердечно Вам признателен». Почил во сне. Народу на погребение собралось в достатке.





Супруга с детками, родня всякая, купцы, военные, мастеровые, монашки с Орши. Из духовных было три попа да наш дьячок. Пели слаженно и недолго. Сначала небо хмурилось, а в конце дождь как зарядил, так и до сих пор по стёклам хлещет. В кабинете не топлено, потому сижу здесь, напротив шкафа с травами и посудой. Отогреваюсь, обсыхаю. Дома и в храме у нас всё мирно. Завтра примусь за уличный погреб. Нужно его проветрить и вычистить. Скоро уже снег повалит. Приедешь из Москвы, будем, как обычно, погреб снегом набивать. К Рождеству Христову ледянки придумаю. Покатаемся. Должны же вас, благородных барышень, на Великий праздник к родителям отпустить? Устав твоего Мариинско-Ермоловского училища строг, но в каждом учёном живое сердце бьётся. Отпустят. Если потребуется, так я похлопочу перед владыкой Григорием. Он при административных чинах остался пастырем чутким. Поймёт, даст Бог. Теперь к делу. Точнее, к твоей просьбе относительно часов Волоскова. Ума не приложу, зачем юной леди сдался этот хитрый механизм? Любопытство до технических изобретений входит в моду среди юношества мужского пола, но коль скоро спрашиваешь – отвечаю. Если кратко, то моё мнение таково. Во-первых, Терентий Иванович Волосков не просто изобретатель, а истинный Ломоносов Ржевского уезда. Он, скажу тебе больше, – избранник,

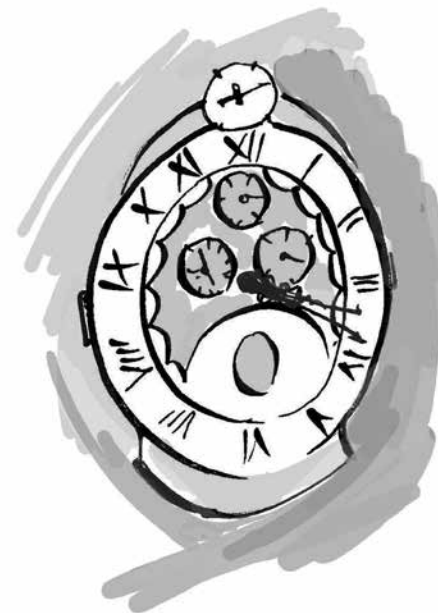
через которых Бог учит и просвещает человеческий род. Пускай не весь и не сразу, но неотступно. Много чего удивительного рассказывали мне о нём и его придумках. Терентий Иванович мечтал построить *perpetuum mobile*, то есть машину, облегчающую труд простого мужика. Такой механизм, приделай его к мельничному жернову, молот бы неустанно. А если соответствующим образом поставить на телегу, то на такой телеге мы бы с тобой катались целыми днями. Из Твери в Москву и обратно. Ещё мастерил Волосков чудесные телескопы, изобретал составы ярких красок.

И, во-вторых, ему, как и любимому мною святому Августину, покоя не давала загадка времени. Дело в том, ангел мой, что Бог сотворил время как великую тайну, и с древних лет своего младенчества человечество пытается в неё проникнуть. Богословы, философы, астрономы и даже математики – все билась над беззвучной стихией времени. Пришёл черёд механиков. Часы не властны над временем, но с их помощью человек в ткань времени как бы проникает. Устройство Терентия Ивановича было выше всяких похвал. Все детали, каждую махонькую штучку, малюсенький шпенёк лично вырезал. Только взглянув на циферблаты (а их четыре!), любой православный мог разглядеть картину небесных светил, движение Луны, зенит Солнца. Узнать не только, который час, но и о всех праздниках богослужебного круга, о числе и месяце нынешнего

года и даже про перемены в календаре, случись год високосный. Сейчас часы во Ржеве, у купца первой гильдии Образцова. Но ты приедешь, сядем на почтовых и махнём к протоиерею Константиновскому. Попрошу отца Матфея представить благородной девице чудо механики Терентия Ивановича. Уверен, Образцовы нашему высокому собранию не откажут.

Ты, душа моя, только себя побереги. Не простывай, надевай всё тёплое и хорошо кушай. Я теперь тоже чай с ромом выпью и на боковую. Пока сочинял тебе, дождь прошёл. Тихо стало. Только Томас на скамейке мурлычит и бабы в огородах перекликаются. Видать, добирают последки урожая. Ангела тебе и Покров Пресвятой Девы. Целую, твой папа. Да! Чуть не забыл. Посылку после Казанской тебе привезёт Мария Петровна. Там всё, что просила. Ещё раз целую.

P.S. Вспомнил! На циферблатах часов Терентия Ивановича ажурная гравировка: «Луна по небу летит. Земной шар светит. Ржевский купец Терентий Иванович Волосков». Во как! Человек скромный, а мастер важный.



И совсем вдогонки. Что по Москве калякают про юродивого Корейшу? Свят или полоумен? Напиши с весточкой. Папа.

«Ну вот, – Болеславлев тщательно запечатал конверт, – хороший сегодня выдался денёк. Печальный, хлопотный, но мирный. Ивана Лукича в последний путь достойно справили. Столько уважения и любви редкий человек у своего гроба собирает. В Твери только на поповские похороны вперегонки мчатся. Любят поглазеть, как усопший, непрестанно вещавший про вечную жизнь, теперь сам в неё отправляется. При полном облачении, намытый и умащенный собратями, лежит в гробу. На руках крест, Евангелие и лицо белым покровом закрыто. Из православных ритуалов тайна прощания – очень трогательное действие. Всегда странно думать о том, как именно встретимся. А точно ли император Александр из таганрогского склепа незаметно ускользнул? Кто-то ему тогда помогал? И как согласилась императрица? Уму непостижимо».

Мысли о бегстве императора в Сибирь Василия Фёдоровича не оставляли. Царя Александра он не видел, но был очарован наследником Николая Павловича – цесаревичем Александром (будущим императором, отменившим крепостное право). Болеславлеву было тридцать два года, когда цесаревич впервые приехал в Тверь. Молодой священник отчётливо помнил, как 13 августа 1852 года на плацу, в рожице Жёлти-

кова монастыря, навтыяжку стояли ряды храбрых тверских драгун. Чёрные, густого конского волоса, хвосты украшали офицерские шлемы. Бело-оранжевые кокарды сияли в солнечных переливах, и усатые солдаты громко кричали «Ура!» при скакавшем цесаревичу. Русскому царю война ещё только дышала в затылок. Также Василий Фёдорович любил рассказывать про бал в Дворянском собрании. Наследник прибыл в офицерском мундире лейб-гвардии Уланского полка. Весело танцевал с супругой губернатора Бакунина, красавицей Анной Борисовной. Три тура польки под ручку прошёл с княгиней Анной Михайловной Хилковой и непринуждённо шутил в компании предводителя губернского дворянства Озерова. Но тверитяне тогда сильно переживали. Будущий император не остался ужинать. Вскочил на коня и умчался на Николаевскую железную дорогу. Спешил в Петербург.

«Неужели, – рассуждал Болеславлев, – где-то в таёжных краях скрывается победитель Наполеона? Получа-



ет секретную почту, читает, думает о своей огромной империи, взвешивает детали дипломатических раутов, даёт советы, подписывает тайные распоряжения? Но зачем ему страна, которая, как Кронос, пожирает своих неуёмных детей? Или это проклятие любой власти? Впрочем, у нас любят всё сокровенное и недосказанное. Поднявшись на корабль, всегда покойнее рассчитывать на запасную лодочку, чем на собственные силы. Мысль о зорком, приглядывающем оке приятна. Но вдруг ока того не существует? Потеря невелика. Русский человек приучил себя к мысли, что везде выжить можно. Как говорится, судьба придёт – по рукам свяжет. Царь Александр Павлович не просто выжить собирался, а хотел для себя спокойно, молитвенно пожить. Вот и исчез. Простому человеку спрятаться труднее. Его если не люди, так бедность отыщет. Когда крестьянам дадут волю, многие от такого подарка в подпол полезут Свобода требует знаний, а на всю Смоленку один Гурий грамоту знает. Кладбищенским артельщикам она ни к чему. Хорошо, что я Дуняше письмо составил. Получит, обрадуется. Надо бы завтра ещё посылку собрать».

Василий Фёдорович прибрался на столе. Погасил уже изрядно оплывшие свечи и отправился на крыльцо.

Во вторую неделю октября вечера выдались тёплыми, даже звёздными. Уже с конца августа и весь сентябрь небо над городом иногда затягивалось морозящей хмурию, подхватывало выползавшие из первых листопадов густые туманы. Но крепкий ветер

мог разогнать осенний морок, и тогда в опрокинутую чашу небесного свода густо и бойко выпадали звёзды. Некоторые из ночных гостей ярко вспыхивали, другие приветливо подмигивали, третьи, словно искры далёкого белого пламени, слабо теплились. Болеславлев знал, что на высотах стылого декабрьского неба они превратятся в колючие кристаллы. Но это ещё когда будет... Василий Фёдорович расположился на крыльце. Покойно уселся в доставшееся от тестя старинное венское кресло. Достал подаренную старицким архимандритом сигарку. С удовольствием раскурил. Лёгкий фиолетовый дымок нырял под кровлю дома, трепетал и растворялся в сумраке холодеющего вечера. Тучи, весь день дождившие над городом, окончательно расплзлись по оборкам погасшего неба.

От перекопанных чёрных грядок поднимался густой запах сырой земли и тонкий аромат палых листьев. Из прозрачных зарослей малины тянуло плесневелой древесиной, кислой рябиной и дымком прогоревшего костра. Священник поднял голову к кистям серебря-



ных звёзд, неподвижно зависших над Тверью. В бороду тихонько промурлыкал:

*Пускай, приняв неправильный полёт
И вспять стези не обретая,
Звезда небес в бездонность утечёт;
Пусть заменит её другая:
Не явствует земле ущерб одной,
Не поражает ухо мира
Падения её далёкий вой,
Равно как в высотах эфира
Её сестры новорожденный свет
И небесам восторженный привет...*

«Точно, – заключил протоиерей, – лучше не скажешь: “привет вам, небеса!” Привет и всему доброму небесному собранию. Вот ведь что интересно. Если у всякого хорошего места на Земле есть свой ангел, то и каждой звезде приставлен страж, соответствующий её величине, значению и роли в космической механике. Особый хранитель, управляющий вращением малых планет вокруг главного светила. Такому ангельскому чину положено присматривать за жизнью в окружении дальней звезды. Если, конечно, в тех краях Господь такую сотворил. Хотя, почему бы Ему не повторить свой эксперимент в далёких краях? Сидя здесь на малом крылечке, я вижу только то, что Он мне показывает. Так, во Вселенной отыщется не один десяток зрителей, которые с благодарностью начнут рассматривать свою небесную карту и декламировать из тамошнего князя Евгения Баратынского стих, подходящий случаю».

Болеславлев поднялся. Ему хотелось дышать. Хотелось продышаться! Сначала глубоко вдохнуть, а после резко и надрывисто выдохнуть.

«Дуся, – прошептал протоиерей, – я отправляю тебе весточку. Надеюсь, скоро получишь. Сочинял осторожно. Страшусь цензоров. Или кто там сейчас конверты вскрывает? Ты сама понимаешь. Всё с нами будет хорошо. Даже если не сразу. Война кончена. Царь скоро подарит крестьянам свободу. Обрадуются ли они русскому счастью: быть лёгкими на подъём? Не знаю. Поглядим. Мы, тверитяне, помним о своих обидах и особом благословении. Всё на нас сверху валится, и как бы понять, что с этим добром делать? Или так только кажется. А дальше, душа моя, что дальше?

Скучаю. Ангелов попросил рядом с тобой разбить небесный палаточный лагерь. Обещали не подвести. Ангелы обычно не подводят...»

Внезапно Василий Фёдорович почувствовал тревогу. От солнечного сплетения она поднималась вверх к горлу, прихватывала дыхание и колко пульсировала на височных косточках. Это было новое, прежде неизвестное ощущение. Ни паника, ни суетливое беспо-





койство, а именно невнятная, беспричинная тревога.

Болеславлев спустился с крыльца и медленно отправился к зарослям черноплодной рябины в самый дальний угол сада. Тропинка петляла между скелетирующих яблонь, огибала кусты крыжовника и наконец оборвалась перед низкой старой калиткой. Протоиерей поправил чугунную петлю, крепившую калитку

к доскам забора. Развернулся и стал внимательно разглядывать свой дом. Из этого закоулка дом, укутанный густыми сумерками, казался странным незнакомцем. Свеча в окне просторных сеней горела жарко и ровно. Преломление огня расставляло тени и оранжевым пятном падало на жестяной фартук уличного подоконника. Тёмный треугольник крыши показался Болеславлеву кормой опрокинутого корабля, а сарай с ледником был поразительно схож с профилем тяжелогружёной лодки. Некоторое время священник прислушивался к звукам дальних улиц. Они, словно мячик в детской забаве, от перекрёстка к перекрёстку звонко перекатывались, но скоро затихли. Только редкий собачий лай разрывал осеннюю тишину. Над мокрой пожухлой травой начал дуть холодный ветер. Священник посмотрел на звёзды.

Небесная картина представилась теперь ему несколько изменённой. Прежние звёздные гроздья распались, и только Большая Медведица невозмутимо занимала свою поднебесную треть.

Тревога Болеславлева утихла. Её место заняло отчетливое предчувствие далёких, но неизбежных перемен. Озябший на этом новом ветру, Василий Фёдорович решил вернуться обратно в дом. Сделал три шага, и под ногой что-то хрустнуло. Болеславлев нагнулся, поднял похожую на скрюченный локтевой сустав ветку старой яблони. Ветка разломилась в его руках на два корявых обрубка.

«Как хрупок наш мир, – вздохнул священник. – Да и я садовник предельно неуклюжий. Опасное сочетание: хрупкости жизни с ее общей несуразностью. Для присмотра за садом нужны глаза молодые, что не только видят, но различают мельчайшие детали. Девичьи глаза, Дуняшины».

Ветер крепчал; поднимался всё выше. В его резких порывах дрожали кроны голых деревьев. С восточного фланга к ещё открытой, но уже сужающейся звёздной



проруби неба наплывали рваные тучи. Холодало. Болеславлев проворно поднялся на крыльцо и плотно затворил дверь. Хлюпанье промозглой осени и лязганье грядущей зимы остались в октябрьской ночи. Дома горела большая свеча и пахло растопленным тёплым воском.

Полнотелая и под внезапными набегами зыбких сквозняков, она дрожала неровным светом в сгустившихся сумерках низких потолков вдовьей избы. Свечу так давно держали в большом глиняном подсвечнике, что за оплывшими смолистыми пластами было не различить прежнего донца. Она медленно погружалась на дно, и неровно оплавленные её круги напоминали Болеславлеву кольца елей или осин, по которым можно было считать срок жизни спиленного дерева. Только у дерева срок шел на года, а здесь вмещался от силы в месяцы. Василий Фёдорович решил прилечь. Занятие это у одного случается скоро, легко, а многие мучаются. Простое дело уснуть. Лоб перекрестить и ждать вышнего полёта. Но то ли у человека совесть чиста, то ли душа пуста, – Бог знает. Протоиерей уснул моментально. Во сне приходила Дуняша, покойный Фиолетов и Сяся в новой меховой шапке.



Литературно-художественное издание

Александр Юрьевич Шабанов

Болеславлев II

Истории ещё одного дня

Короткая повесть

Художник - Т.Е. Косач

Корректор – Н.Е. Озерова

Дизайнер-верстальщик – И.Ю. Бодалёва

Общественная организация «Гражданская
преемственность – право, жизнь и достоинство».
101000, г. Москва, Лучников пер., д. 4, ком. 1,
тел. 8 (495) 625-06-67

Подписано в печать: _____. Формат 62x94 ¹/₁₆
Усл. печ. л. 6,25. Тираж 317 экз. Заказ № _____



Отпечатано в ООО «Тверская фабрика печати»
(г. Тверь, Беляковский пер, 46)